

СТРЕЛЕЦ

«Стрелец» — ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли

8

№ 3 50

1984
АВГУСТ

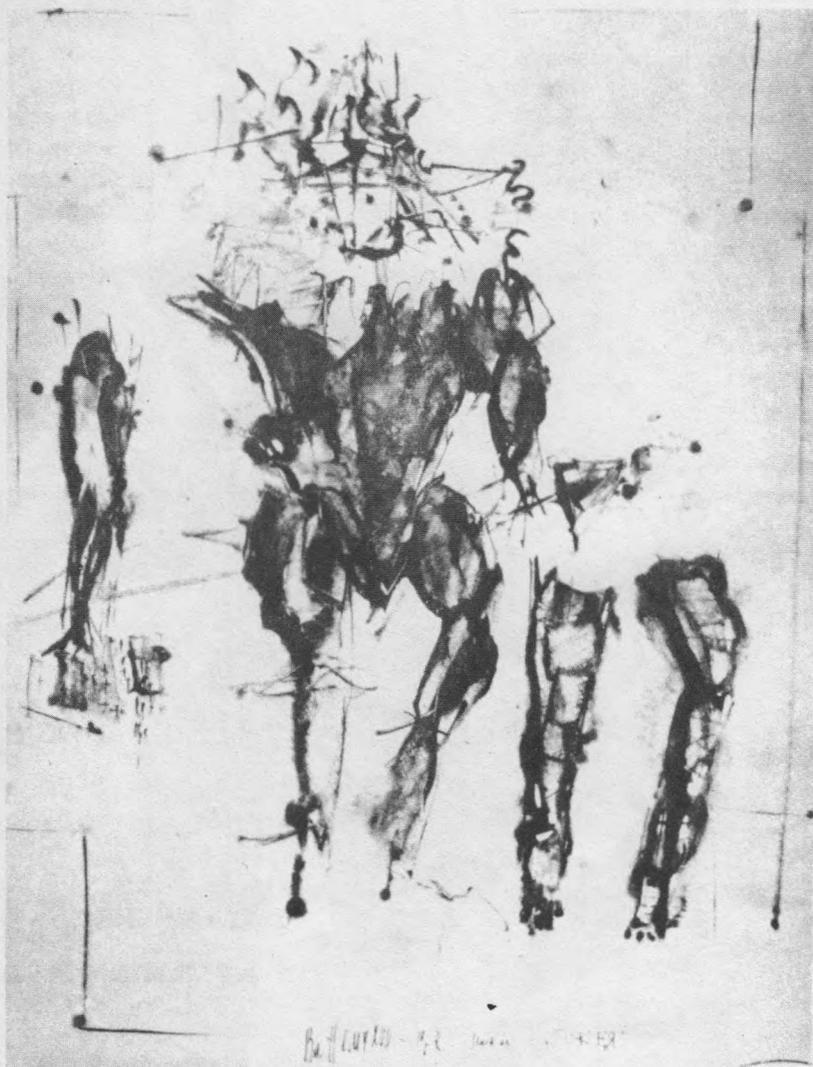
В НОМЕРЕ:
НЕИЗВЕСТНЫЙ
РАССКАЗ
В. ШАЛАНОВА

СТИХИ
ПРОЗА
ИНТЕРВЬЮ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АРХИВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает

ТРЕТЬЯ ВОЛНА 17





СОДЕРЖАНИЕ



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Заместитель главного редактора
СЕРГЕЙ ПЕТРУНИС

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЙ



Фото:

НИНА АЛОВЕРТ
АРТУР ВЕРНЕР



Издательство
"ТРЕТЬЯ ВОЛНА"

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Тел. редакции:
201-434-0378; 201-432-9636

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
92130 Monteron
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

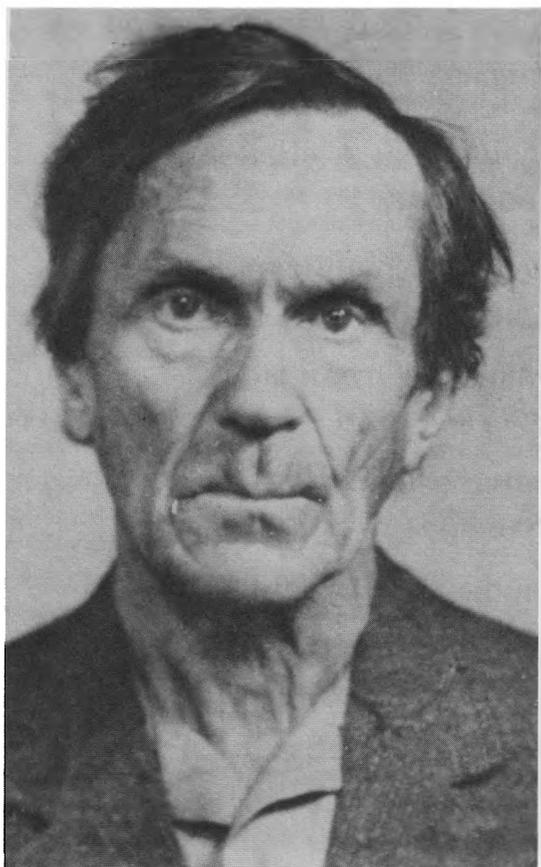
Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

© 1984 by "Strelets"
All rights reserved

- 4 Варлам Шаламов — Шахматы доктора Кузьменко. Рассказ
- 6 Александр Радашкевич — «Венеция» и другие стихотворения
- 8 Сергей Юрьенен — Нарушитель границы. Роман. Продолжение
- 18 Михаил Гробман — «Отдай мою деревянную ногу». Стихи
- 20 Сергей Юрьенен — Юрий Кузнецов и другие: правый марш
- 22 Владимир Голицын — «Страна негодяев»
- 25 Юрий Милославский — «Роман-покойничек» Анри Волохонского
- 26 А.Ветлугин — Записки мерзавца. Роман. Продолжение
- 34 Дася Шаляпина-Шувалова
Мой отец — Шаляпин
- 38 Интервью с художником Юрием Купером — «Я — человек русской культуры и, следовательно, русский художник»
- 43 Мишель Курно — «Цапля» Василия Аксенова в театре Шайо
- 45 Александр Глезер. Виктор Луи в «Галерее Мари-Терез»

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом году, то есть в первом году своего бытия, наш журнал имеет возможность выходить только благодаря поддержке мецената, которого мы не можем назвать, ибо он этого не желает, но которого редакция искренне благодарит за бескорыстную в полном смысле этого слова помощь. Однако, помощь не может быть бесконечной. В 1985 году журнал должен стать самокупаемым. Поэтому уже сейчас мы объявляем подписку на следующий год. Несмотря на то, что типографские расходы увеличиваются, стоимость годовой подписки остается прежней — 36 долларов или 336 французских франков. Для тех, кто подпишется до 15 ноября, стоимость годовой подписки — 30 долларов или 300 французских франков. Как и прежде, пересылка журнала подписчикам будет осуществляться за счет издательства.



Варлам Шаламов

Шахматы доктора Кузьменко

РАССКАЗ

ДОКТОР КУЗЬМЕНКО ВЫСЫПАЛ ШАХМАТЫ НА СТОЛ.

— ПРЕЛЕСТЬ КАКАЯ, — СКАЗАЛ Я, РАССТАВЛЯЯ ФИГУРКИ НА ФАНЕРНОЙ ДОСКЕ. ЭТО БЫЛИ ШАХМАТЫ ТОНЧАЙШЕЙ ЮВЕЛИРНОЙ РАБОТЫ, ИГРА НА ТЕМУ — СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ. Польские жолнеры, казаки окружали высокую фигуру Первого Самозванца, короля белых. У белого ферзя были резкие, энергичные черты Марины Мнишек. Гетманы Сапега и Радзивилл стояли на доске, как офицеры Самозванца, как в своей польской партии. Партия черных была в монашеской одежде, митрополит Филарет возглавлял ее. Пересвет и Ослябя в лапах, поверх феерических ряс, держали короткие обнаженные мечи. Башни Троице-Сергиева стояли на полях А-8 и Н-8.

— Прелесть и есть, не наглажусь, только, — сказал я, — историческая неточность. Первый Самозванец не осаждал Лавры.

— Да, да, — сказал доктор, — вы правы. А не казалось вам странным, что до сих пор история не знает, кто такой был Первый Самозванец.

— Гришка Отрепьев.

— Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень ве-

роятная. Пушкинская, правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот у поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора... Им принадлежит толкование событий. Это девятнадцатый век с его жаждой объяснения необъяснимого. В половину двадцатого века документ вытеснил бы все. И верили бы только документу.

— Есть письмо от Самозванца.

— Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле. Все же кто он? Никто не знает, кто был русский государь, — вот что такое "польская тайна", — и сила историков — стыдная вещь! Если б дело было в Германии, где-нибудь нашлись бы документы. Немцы любят документы. А высокие хозяева Самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито из тех, кто прикоснулся к этой тайне!

— Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну.

— Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Мандельштама — не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти, от побоев, от голода и холода. В обстоятельствах смерти расхождений нет, и каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина. Его следы ищут 30 лет. Родственникам бывших партийных вождей, вроде Бухарина, Рыкова,

* Из книги неизданных произведений В.Шаламова "Четвертая Вологда", готовящейся к печати в издательстве ИМКА-Пресс.

выдали справки о смерти. Справки эти растянуты на многие годы, от тридцать седьмого до сорок пятого, но никто и нигде не встречался с этими людьми после тридцать седьмого или тридцать восьмого года. Все эти справки для утешения родственников, сроки смерти произвольные. Вернее будет предположить, что все они расстреляны не позже тридцать восьмого года в подвалах Москвы.

— Мне кажется...

— А вы помните Кулагина?

— Скульптора.

— Да. Он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией, сменной в лагере на номер, а номер вновь был сменен на третью фамилию.

— Слышал я о таких штуках, — сказал я.

— Вот эти шахматы его работы. Кулагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в тридцать седьмом году. Все арестанты, сидевшие в кулагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда слюна и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер идеи. Удача — вынуть изо рта тесто, готовое принять любую форму под пальцами Кулагина и затвердеть навеки, как цемент египетских пирамид. Две игры Кулагин так сделал. Вторая — завоевание Мексики кортесами, мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев Кулагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское смутное время увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтем ли — всякая железка запрещена в тюрьме.

— Тут не хватает двух фигур, — сказал я, — черного ферзя и белой ладьи.

— Я знаю, — сказал Кузьменко, — ладьи нет вовсе, а черный ферзь, у него нет головы, заперт в моем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников Лавры смутного времени был ферзем. Алиментарная дистрофия —

страшная штука. Только после ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии и так далее. Тоже погоня за пальмой, хоть и на арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде. В официальных документах, в историях болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификации...

— Я знаю.

— Кулагин был высоким грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил сорок килограммов — вес костей и кожи, — необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция, одно из дэ знаменитой колымской триады: деменция, диарея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция?

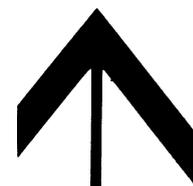
Безумие, да-да, — безумие, приобретенное безумие, приобретенное слабоумие.

Когда Кулагина привезли, я, врач, сразу понял, что признаки деменции мой больной обнаружил давно. Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал все дезинфекции и блатарскую жадность. Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голову черного ферзя. И только вначале, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук, мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтоб уничтожить, стереть свой след с земли. На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки — они спасли бы Кулагина. Но нужно ли было ему спасение? Я не велел доставать ладью из желудка, во время вскрытия это можно было сделать, и голову ферзя тоже. Поэтому эта игра, эта партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро!

— Нет, — сказал я, — мне что-то расхотелось.



Читайте в следующем номере «Стрельца»



ПРОЗА: А. ВЕТЛУГИН, ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ, СЕРГЕЙ ЮРЬЕНЕН

ПОЭЗИЯ: ВАСИЛИЙ БЕТАКИ, ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ, КИРИЛЛ ПОМЕРАНЦЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ Ф. И. ШАЛЯПИНА.

ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ КУБЛАНОВСКИМ.

МАТЕРИАЛЫ О ДЕСЯТИЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ "БУЛЬДОЗЕРНОЙ ВЫСТАВКИ" В МОСКВЕ 15 СЕНТЯБРЯ 1974 ГОДА, СТАТЬЮ ВАДИМА КРЕЙДА О ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА РОАЛЬДА МАНДЕЛЬШТАМА, РЕЦЕНЗИИ НА НОВЫЕ КНИГИ.



«Стрелец» принимает объявления от издательств, книжных магазинов, музеев, галерей и другую рекламу, связанную с литературой и искусством.

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ:

1 дюйм на одну колонку \$7.00

Четверть страницы \$50.00

Половина страницы \$100.00

Целая страница \$200.00

Объявления и оплату (чеки и денежные переводы)

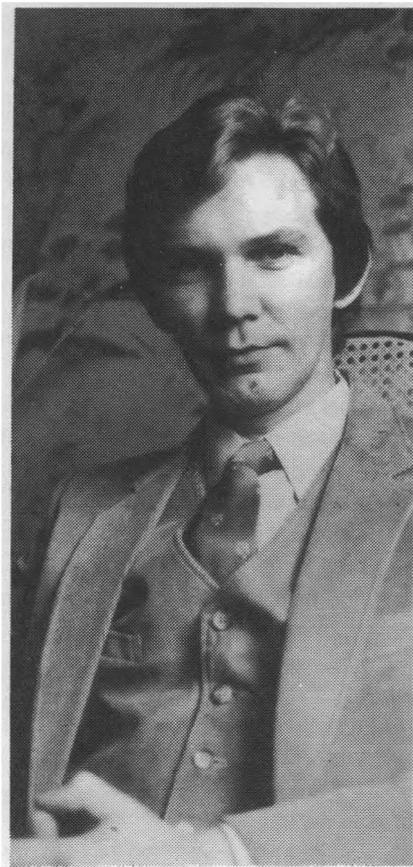
просьба направлять по адресу:

TATYANA GOERNER.

104 Corbin Avenue.

Apt. 3D Jersey City, N. J. 07306. U.S.A.

Александр Радашкевич



«Венеция» и другие СТИХИ

ВЕНЕЦИЯ

(из цикла "Итальянское лето")

I.

*Когда из лакового гроба неуправляемой гондолы
тебе (и никому
другому)
на всякий случай подмигнет Джованни
Джакомо
Казанова и скроется под маской птиценосой,
когда оближет мертвая вода
по ступеням покинутых палаццо
мокриц и пряди тины,
когда заплатишь бережной тоской за праздное
муранское стекло,
когда из-за угла
и за
пьяцеттой, сквозь гвалт и крылья глупых голубей,
тебе – за весь невзрачный век – воздастся
ослепляющей лагуной -- тогда
тогда,
тогда непрошенный обряд венециации свершится над
нстоящим тобой.*

II.

*За кайму цветов стеклянных боязливою ногою
ступим сквозь живую воду
зеркала (теперь взаправду
всякий шаг),
чтоб следить безразлично, как
от лестницы Гигантов под аркаду пролетают черно-
белые баутты, словно бабочки ночные, сунув
ветреное сердце, ключик и стилет трехгранный
в леопардовые муфты.
Пьяцца бархатом накрыта, шелк багровый на
гондолах, на закате расплескались реки
радужной парчи. Сим
пленяли не напрасно полунабожные дожи,
приживальщички, поэты, банкометы и актрисы,
скарамуши, арлекины, шарлатаны и, конечно
же, досужие зеваки – словом, те
венецианцы: нет
верней крапленой карты и надежней прежней
смерти, нет честней атласной маски и
живей воды зеленой, омывающей
пороги,
уводящие нестрогих сквозь
несомкнутые волны – за кайму
цветов стеклянных.*

ДВЕ ТЕМЫ ДЛЯ ФИНАЛА

*Как леди Каролина Лэмм
за полночь в фосфорной ротонде
упасть. Ампирный поясок
под грудью и имя пенкою из уст
закушенных – чтоб распоролась облака,
чтоб съезжались. Курчавый лорд, как
кóсит ваша несусветность
и хромота.*

*Как опаршивевший поэт – своих,
чужих предать и спутать. "Мосье, я под-
пишу стихи за франк, за пару ваших
вшивых слов, я за..." Закрылась дверь. И
с койки диктовать с оглядкой о чете-
нечете, о Пушкине чуток, и с тем
небрежно переплыть границу без страны и
без охраны.*

★ ★ ★

*Все это, слушай, вышло попыткой
никогда не скажу чего –
может, пыткой плюшевых страшилищ,
может, молотью папье-маше.*

*И когда б не вычурные раны,
не труха бескровная из швов, мы бы,
стеклоокая, играли
до сих пор насупившись с тобой*

*в липовые кубики блаженства –
у окна, в котором не скажу
никогда какие облака
зацветали на ущербном солнце.*

КАРУСЕЛЬ

*Как-то бойко завертелась карусель: мне
рукой теперь оттуда и
досель. А верблюдов, недоплюнувших
до звезд, и
слонов, недонимаемых тцетой,
нагоняют уж зубастые коньки, не
стремясь их ни лягнуть, ни
раскусить.*

*Лишь олени – те несут, не чуя мест
и лет,
углубляя сей назойливый недуг, что
выносит их по кругу на следы
свои, затоптанные в прах
теми
ли, кто – слышишь? – по пятам, теми
ли, за кем они вослед.*

*Мельком лица, вскользь уста и окна
вспять. Вырвешь взгляд –
простыл недолгий жест встречи иль
прощанья – как взглянуть. И не
спится уж давно на трень-
траве: душу умотала круго-
верть. Вновь меня уносит – от всего, или
все несется – от меня.*

АКВАТИНТА

*Лежит скорлупка на Неве.
То шпиц, то купол над тупою крышей.*

*Такая несурразица с утра, голландщина и
петербургщина какая. Российщина.
Петровщина.*

*Глазетовые воды.
То ломоносовщина, то ека-
теринщина, а то
суворовщина.*

*Отроческий ветер. И от века
уж коли не хованщина, то аракчеевщина или
бироновщина вове.*

*В бирюзе
зависли паруса и Божьи птахи.
Такая небывальщина с утра.*

*А полдень водит
гальской шторой. Немилосерден вид
Адмиралтейства, нещаден – Академии наук.*

★ ★ ★

*Словом, если удавалось – то
лишь ветренность
и верность. На ледовой перепонке
гладью вышиты морщинки.
Что же выглядит свежее беглой
новости о смерти? Ах,
не в пору пообвыклись мы
с трускою несурразной.
То пельмени с сердцем
в комендантском доме, то
мозги с горошком
ел в первопрестольной. Словом,
был неправильным настолько,
насколько чудилось мне
верным.*

Сергей Юрьенен



*Памяти
Екатерины Александровны Юрьенен,
урожденной Грудинкиной
(Санкт Петербург, 1896 –
Ленинград, 1980)*

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

IV

ОДЕРЖИМЫЙ ЭЛЬЗОЙ

На рассвете следующего дня экспресс "Ост-Вест" подходил к Подпольску, где на перроне меня уже поджидал наряд линейной милиции, вызванный по радиотелефону. Свесив голову, я сидел в тамбуре. На жестком сиденье, вынутом из стены. А надо мной, расставив ноги, виселись двое дюжих международных проводников, профессионально владеющих приемами самбо. Они победительно прихлебывали чай, позвякивая подстаканниками.

– Что ж, подъезжаем, – сказал один. – Через семь минут. Подержи, Микола.

Микола принял второй стакан и сказал:

– Недолго музыка играла, а? Недолго фраер танцевал. То-то. Будешь знать, как зайцем ездить.

Первый проводник вынул ключ и открыл дверь. В тамбур хлынула прохлада рассвета. Я глянул глазами в сторону проема. Фигура проводника чернела на фоне проплывающих индустриальных окраин. Вот он откачнулся назад, убрал руку, чтобы извлечь из сумки сигнальный флажок, и я осознал, что больше шанса у меня не будет. Вот одна рука уже взялась за сумку, придерживая, другая потянула древко флажка... я вскочил, оттолкнув Миколу, заблокированного обжигающе горячими стаканами, – и почти впритирку к сигнальщику вылетел на волю, сопровождаемый ошеломленным матом и криком: "Стой!.."

Я крепко ударился плечом, перевернулся раз, другой и замер в черном бурьяне. Высоко надо мной еще тащились темно-зеленые цельнометаллические бока спальных вагонов, мелькая своими гербами СССР и черно-белыми табличками: "Москва – Варшава"... "...Берлин"... "...Вюндорф"... "Кельн – Аахен – Париж". Счастливого пути! Лично я уже на месте... Я перевернулся на живот, схватил себя за плечо и поднялся на колени. Чумазый, закопченный бурьян был полон мусора, и это амортизировало мое приземление, но еще бы пару метров и зарезала бы меня, как агнца, вон та куча битых винно-водочных бутылок. Так бы и истек на этих мягких отложениях восточно-западного мусора. Под мертвыми глазами западной цивилизации, этими вот крышечками от датских, нидерландских и немецких пив. Рвотная судорога согнула меня. Сутки уже я ничего не ел, и рвота была трудная, скудная. Потом я утерся тыльной стороной ладони и поднялся на ноги. Линейная милиция, с ней шутики плохи. Промедление, как говорится, смерти подобно, так что, плечо не плечо, а я погнался вдоль полосы отчуждения – в сторону обратную мусорам. По обе стороны многоколейного железнодорожного устья тянулись заборы, над заборами виднелись закопченные крыши цехов. Кругом были одни заводы, но то ли ночная смена уже кончилась, то ли утренняя не началась – тихо было. Ни души. Рассвет слабо трогал рельсы розовым. На фоне безмятежного неба, предвещавшего замечательный день, чернел виадук. Минут через пятнадцать, крутой насыпью, я выбрался на него и, переводя дыхание, взялся за железные перила. Отсюда далеко

было видно, почти до самого вокзала, желтеющего на горизонте. Со стороны железной дороги погони не было, но они вполне могли выслать милицейскую коляску в обход. Я посмотрел направо. Эстакада широкой улицы, по обе стороны которой были заводы, отлого уходила, пустынная, вдаль, сводя в точку две пары трамвайных рельс. Я сбежал с моста и погнал вниз по улице, держась края тротуара, чтобы при появлении коляске сразу скатиться по откосу вниз, к заводскому забору, в котором была проломана масса лазеек. Уж там-то, на территории завода, среди огромных цехов, в индустриальном лабиринте, простор для бегства был, можно сказать, беспредельный...

Ошибся я только в одном: за зайцем из международного экспресса выслали не коляску, а целый "воронок".

Но я с ним благополучно разминулся, увозимый первым трамваем по направлению к центру города. Я только покопился на "воронок" из окна, а потом снова прильнул лбом к своим рукам, возложенным на поручень переднего кресла, испытывая глубокое удовлетворение.

Еще не было семи утра, когда я разыскал динкин дом. Это был помпезный сталинский бастион, с башенками, статуями и прочими украшениями эпохи архитектурных излишеств. Снаружи был "Дворец бракосочетаний". Этот бастион стоял плечом к плечу со своими близнецами, и все это вместе образовывало как бы целый укрепрайон. Арки были наглухо перекрыты копыносными железными воротами, и мне пришлось-таки побродить под неприступными стенами, пока я не отыскал приоткрытую калитку в воротах.

Двор был огромен и зелен тучной августовской листвой разросшихся лип. Я нашел подъезд с квартирой 5, взлетел на третий, "генеральский" этаж и костяшкой среднего пальца нанес три удара в филенку. Тупая фраза: "Давай поженимся!" вертелась у меня на языке, но я знал, что ничего этого не произнесу. Я был за свободу любви.

Дверь отворилась с нечетким лязгом. На пороге стоял атлетического сложения парень, похожий на Динку. Он был постарше меня, повыше и намного шире в плечах. В одних плавках.

— Тебе чего?

Он с усилием держал меня в фокусе мутных глаз, явно будучи с похмелья.

— Дину можно? — спросил я. — Если она, конечно, уже проснулась.

— Сеструху тебе?

— Она еще спит? — я попятился. — Тогда я попозже.

— Обожди, не суетись... Во-первых, вот что: закурить у тебя, друг, есть? — При катапультировании в этот город мои сигареты сплющило. Он вынул одну, размял и спросил со снисходительным сочувствием: — Кто это тебя так отметелил?

Я поднес ему спичку, прикурил сам, после чего осторожно потрогал левый глаз, уже заплывший. — Небольшой инцидент, — сказал я. — До свадьбы заживет.

— Надеюсь, ты не с этой истеричкой играть свадьбу собираешься? Она мне тут тоже инцидент устроила. Люминалу наглоталась.

— Люминалу?

— Снотворное такое, — объяснил брат. — Прихожу, а она уже лежит. Спящую красавицу изображает. Еще б немного, и точно, спала бы вечным сном. А я еще пришел поддатый. Сам, можно сказать, в отключке был. Но ничего, реакция не подвела. Сразу "скорую" и на промывание. Очухалась, ничего. Она ж, понял, университеты свои завалила. Вот и психует.

— В какой она больнице?

— В Сочах она, а не в больнице, — сказал брат. — Я мамаше телеграмму отбил, мамаша первым же рейсом сюда. И увезла ее на Кавказ. В санаторий. Психику грязями лечить. У меня теперь, как гора с плеч. Мне этого еще не хватало, за сеструхой следить! Ладно, по первому разу у нее фальстарт, — а по второму? Нет уж, пускай предки за нее отвечают. Они ее родили, пусть и несут эту ношу. Верно я говорю?

— Ты думаешь, она, — спросил я, — способна... по-второму?

— А кто их знает, этих рвущихся в институты? У меня вон в классе тоже один, так он повесился, понял? Еврейчик один. Тихоня, круглый отличник. А не приняли в университет — р-раз и удавился. Не понимаю я таких. И чего они все в интеллигентны лезут? Я вон на заводе и без институтов больше инженера имею. Фирменные?

— Кто?...

— Техасы на тебе.

— Да, американские.

— Померить дашь?

Я переступил через порог динкиной квартиры и снял джинсы. Ее брат в них втиснулся по пояс, застегнулся, хлопнул себя по ягодицам, скрылся в комнате и закричал оттуда: "Даешь Сайгон, а? Как Людка, нормально?" Эта Людка, блондинистая девица с запухшим с перепоя лицом, из постели, а я издали, из прихожей, смотрели, как динкин брат провел в экстазе перед трюмо "бой с тенью", после каждого удара выдыхая:

Шестнадцать тонн!

Смертельный груз!

А мы

летим

бомбить Союз!..

так вдохновили сына советского генерала мои "левисы". После чего он выбежал ко мне:

— Твоя цена, друг?

Молча я смотрел на свои джинсы.

— Сотню хочешь? — Я молчал. — Бери всю получку! — Он сбежал и вернулся с белыми парусиновыми штанами, вытащил из них ком денег. — Тут двести минус выпивка, идет? Это хорошие деньги, слушай, я за них месяц пахал, как Стаханов... бери! Со штанами вместе. А? Ну, ты сам посмотри, как они на мне сидят! Как для меня отлили! Все равно они тебе немного велики были, а? Друг? Рубаху тебе еще дам! Батину, с погонями? А то у тебя сзади порвато. Ну, чего молчишь? Может, тебе кадра глянулась? — Он прикрыл дверь, за которой находилась "кадра", и перешел на шепот: — По пьяни я запилил ее слегка, так что, понимаешь... Но если хочешь — она отсосет. Это я тебе мигом устрою! А? Впридачу?

— Ладно, — сдался я. Набрал воздуха, задержал дыхание и влез в его парусиновые.

— Ты согласен? — Вне себя от счастья он хлопнул меня по плечу. — Друг! Век не забуду! Это же моя мечта, ты понял? В тринадцать лет я у одного Хмыря на Балатоне джинсы увидел — с тех пор о них мечтал! С самой Венгрии! Сейчас, — открыл он дверь, — поясню ей что к чему.... Идем.

— Стой! — сказал я. — Не надо.

Он оторопел. — То есть "как не надо"? Да ты не бойсь, они у меня дрессированные. Я им чуть что, так по печени. Проблем не будет.

— Не в этом дело, — сказал я, — и двести рублей это слишком много. Сотню я у тебя, пожалуй, возьму. Но не больше. Держи!

Брат Динки опомнился только, когда я втолкнул в карман своих бывших джинсов лишние деньги. Он вскричал:

— Друг, скажи мне, кого убить?! Адрес дай!

— Нет, — сказал я. — это ты мне дай адрес.

— Какой?

— Санатория, в котором Лина.

Он дал. Дал и рубашку цвета хаки и с погончиками, которая, принадлежа генерату, была мне великовата, но зато имела удобные нагрудные карманы, куда я и застегнул свое добро: адрес, сигареты, спички, деньги и паспорт. Он спросил:

— Письмо ей хочешь написать?

— Зачем? Сам полечу.

— Смотри, санаторий закрытый, — предупредил он. — Туда так просто не прорвешься.

— На месте видно будет.

— А что, может, и вправду, породнимся? Сеструха пацана нянчить будет, а мы с тобой на пару по мужским делам? Ладно, не дуйся, я ж шучу. Она кадр ничего, сеструха, но только, как бы сказать, не от мира сего... Эй, обожди, а обмыть?!

Но я уже гремел вниз по лестнице.

Измученный, я лежал в траве у самой кромки аэродромного бетона, с которого — там, вдали — то и дело взлетали самолеты, закладывая мне уши грохотом. Был закат, и уже зажглись огни на взлетных полосах, а я все еще торчу в Подпольске. От бессильной, уже столько раз отброшенной — и на вокзале, и здесь, в аэропорту — яростной страсти свалить отсюда — во мне перегар. Не дает мне это пространство. Крутит динаму. И чем дальше крутит, тем туже закручивается во мне агрессивная похоть: изнасилую! Выебу! Сломаю звуковой барьер. Но как? Без денег, зайцем петлять по "шестой части суши" сложно. Но и с деньгами — непросто. Даже еще трудней. Обжегшись в экспрессе "Ост-Вест", я не рискнул вскочить зайцем в скорый "Подпольск — Сочи", все билеты на который распроданы до конца лета, и вот результат. В траве валяюсь... Жду очередного рейса, на который — есть шанс — может быть, и выкинут билетик. И если бы я ждал один! Так нет же, того же шанса алчно поджидает целый табун сограждан, рвущихся на юг. Ноги оттоптаны, бока отбиты в штурмах у касс. Устал. Все ненавижу. Так давно, что и ненавидеть уже изнемог. К тому же ненавидеть мне и не хочется. Под этими дотлевающими высоко-высоко перышками заката любить бы... "Но есть только с о в е т к а я любовь", — услышал я непримиримый голос питерского друга, принципиального девственника. "Той, о которой мы с тобой вычитали в русской классике да западной литературе, пойми, друг, нет и быть не может!.."

Вероятно, он прав. Несомненно... Но мне хочется хоть какой-нибудь. Пусть и советской. Несмотря на весь его авторитет.

На последний рейс выкинули билет.

Один.

И достался он не мне, а легко, как в бейсболе, отшвырнутому меня капитану ракетных войск. Что ж. Право сильного. Человек человеку в этой стране "друг, товарищ и брат", как о том постановили в Кремле, но и я ведь, юный волк, помогая плечом и локтем, обходил в прорыве к кассе тех, кто послабее. Естественный отбор. Все правильно, все справедливо. После капитана, взлетевшего в ночь, мой черед, ибо огнине я тут самый сильный — и пора, ей-Богу, отбросить все эти пи-

терские, интеллигентские, гуманоидные комплексы!

Самая надежная позиция в этой стране — позиция силы. Такая она мне досталась, страна. Прошу учесть на Страшном Суде.

Табун неудачников разбрелся по зданию аэропорта, а я вышел, сел в такси и приказал отвезти себя в гостиницу. Ночь: пора и о ночлеге позаботиться. Сил набрать для завтрашних атак.

Таксист уточнил:

— В какую гостиницу?

— В лучшую, — уверенно сказал я.

Мест в лучшей гостинице не было. В средней тоже. Мест вообще в советских гостиницах нет, и Подпольск исключением тут не был. Я спросил:

— Ну, а что же мне делать? Я и так уже сутки не спал.

— Можно в лесу, земля теплая, — посоветовал таксист. — А то, еще лучше, вдову себе найдите, пока не поздно.

— Вдову?

— Или там разведенку. Заодно и переночуете.

— А лес от города далеко?

— Как сказать... За червончик сvezу. Устраивает вас?

Такими темпами, и до юга не доберусь просто потому, что денег не хватит на билет. А еще жить. И обратный брать — в Москву. Я расплатился и вылез на тротуар "главной улицы" Подпольска — проспекта Ленина.

Был двенадцатый час: магазины уже закрыты, в рестораны не пускают, в кинотеатрах идет последний сеанс. Не все еще замерло. Еще горят вывески, еще есть известное оживление по обе стороны широкого проспекта. Троллейбусы еще ходят. Я выпил два стакана газировки, благо автоматы с водой работают круглосуточно, и местные алкаши, похитив из ниш автоматов все стаканы, один все же оставили. Надбитый. Заправил потуже чужую рубашку в чужие белые штаны. Закурил — и отправился вниз по тротуару, оценивая взглядывая на одиночек. Они были редки, надо сказать: в этот час все, что есть стоящего, уже нашло себе пару. Те встречные девушки, которые охотно или без отказа отвечали на мой взгляд, меня не устраивали. Они были сверстницы — школьницы, абитуриентки, студентки, — а мне было не до приключений, которые оканчиваются на рассвете где-нибудь в подъезде, в парке на скамейке или на заднем сиденье запаркованного на ночь троллейбуса. У меня веки слипались. Я хотел спать. И, следуя совету опытного человека, искал женщину постарше. Я прошел весь проспект, до конца, километров пять, должно быть, — дальше в звездную ночь широко уходило московское шоссе, и до Москвы было, как о том извещал дорожный знак, 744 километра. Я передохнул, сидя в пыльной траве у знака и подумывая: не голоснуть ли? Вернуться в МГУ, запереться в законной комнате, вкатить лист в "Колибри"... Я поднялся, разогнулся и побрел прочь от Москвы.

Я почти уже снова вернулся в центр, когда вдруг, резко затормозив, рядом со мной остановился милицейский "воронка", распахивая дверцы. Не успел я опомниться, как был скручен и обхлопан сверху вниз, по самые щиколотки.

— Где твой нож, а? Выбросил?

— Не было у меня никакого ножа! — закричал я возмущенно. — Пустите меня!

— Ах, не было, щенок! — Милиционер замахнулся.

— Погодь, Василек! — крикнул начальник. — Опять дров наломаешь... — Спустился из "воронка", подошел. — Ножа нет?

— Никак нет, — ответил Василек.

— А что у него есть?

Поскольку второй как заломил мне руки назад, так и держал, Василек рванул на мне клапан нагрудного кармана так, что отлетела пуговка, и железными пальцами выхватил паспорт. Передал начальнику.

— Ленинградец? — Пусти его, Рылов.

— Был, — ответил я, разминаясь. — Теперь москвич.

Начальник долистал до штампа с последней по времени пропиской в общежитии МГУ и убедился.

— То-то я слышу, акцент не наш. К нам какими судьбами?

— К другу приехал.

— Адрес друга не забыли?

— А если забыл?

— В отделении вспомнишь.

— Но на каком основании? — возмутился я. — Паспорт ведь в порядке, а ваш Подпольск, кажется, открытый город?

— Вот я тебе сейчас покажу "открытый"! — надвинулся было Василек, и я поспешил сдать:

— Коммунистическая улица адрес друга. Ничего себе: "человек проходит, как хозяин необъятной родины своей"...

— Коммунистическая, говорите? — Начальник вернул мне паспорт и выразительно посмотрел на подчиненных. — Есть у нас такая улица... Вы свободны, молодой человек, гуляйте. Вот видишь, Василек, а ты сразу в морду. А человек в гости на Коммунистическую приехал.

— А если не на Коммунистическую, то что, можно и в морду?

Все трое резко обернулись от "воронка".

— Некоммунистических, — сказал начальник, — в нашем городе нет. Гуляйте, товарищ москвич, спокойно.

— Пуговицу оторвали ни с того ни с сего. С мясом!

— За пуговку извиняйте. Несдержанность подчиненный проявил.

Мимо проходила шумная толпа девушек, и чей-то насмешливый голос бросил мне:

— Идем с нами, молодой-красивый! Тоже мне, нашел себе компанию.

— Тоже верно, — сказал я, повернулся и пошел за девушками.

— Чего они к тебе пристали, парень? — спросила одна.

— Обознались.

— И сразу бить, да? — Другая сплюнула презрительно. — "Моя милиция меня бережет"...

— Мусора, одно слово. Никто им давать не хочет, вот они и носятся, как бешеные.

— А я знаю одну, с ОТК, так она замуж за мусора выходит. За офицера, правда.

Они меня обогнали, продолжая разговор, а со мной поровнялась другая девушка.

— А вы кто? — спросил я.

— Дневная смена, — ответила она устало. Видел, на площади, кубик такой стеклянный? Наш завод.

— Я думал, заводы только на окраинах.

— Которые грязные, те да. А у нас чистое производство.

— Что же вы производите?

— Военная тайна, — она засмеялась. В свете фонаря я взглянул на нее повнимательней: курносость, завиток платиновых волос над крутым лбом. Кого-то она мне напоминала... Волосы у нее были чудо, но прическа портила их безнадежно. Девушка машинально поправила свой шестимесячный перманент, придававший ей нечто овечьё, и не без кокетства сказала:

— Но вам я ее открою. Вы ведь не шпион?

— Шпион, — кивнул я.

— Делаем мы ЭВМ, вот чего.

— И это тайна? Кого она интересует, если в этой области мы на двадцать лет позади Америки, — проявил я компетентность.

— А вдруг вы китайский шпион?

Я насмешил ее, оттянув себе уголки век.

— У нас из всего делают тайну, — вздохнула она, отсмеявшись. — Нет, а правда, кто вы?

— Вас это интересует?

— Очень!

— Шпион.

— На чьей же службе, можно узнать?

— На службе реальности, — сказал я. — У нас из нее, как вы правильно сказали, делают тайну. Ну, а я пытаюсь ее разгадать. Я охотник за тайнами.

— Это называется "пудрить мозги", — констатировала девушка.

— Писатель я.

— Писатель? И много уже написали?

— Ничего, — сказал я. — Но работы передо мной край непочатый. Никто, кроме вас, не знает еще, что я писатель. И еще долго не узнает. Я скрываюсь в данное время под маской студента. А вы?

— Что я?

— Под какой маской?

— А у меня нет никакой, — сказала она. — Одно лицо.

Тут мы дошли до широкого перекрестка, и несколько девушек свернули направо, закричав: "Идем с нами в общежитие, молодой-красивый в белых штанах! Опять Эльза, кавалера отбиваешь? Не ходи с ней, кавалер: у нее муж ревнивый!"

Мы сошли на проезжую часть, пересекли две пары тускло блестящих трамвайных рельс и приподнялись на "островок спасения". Три-четыре девушки, будучи более деликатными, чем крикуньи из общежития, взошли на другой край, держа дистанцию. Я уточнил:

— ...Эльза?

— А что, нельзя?

— Почему же, Эльза, очень даже можно. Сказать, какая на вас маска? Усталой после смены девушки. А на самом деле вы Мэрилин Монро.

— Кто?

— Вы, Эльза, смотрели "В джазе только девушки"? Нет? Впрочем, это старый фильм. Вы оч-чень похожи на актрису, которая в этом фильме играет главную роль.

Женщина польщенно промолчала. Она повернул голову в сторону, откуда должен был прийти трамвай. Далеко было видно по улице, освещенной газовыми фонарями. Признаков трамвая не было.

— Все у нас не как у людей, — вздохнула она. — Работаем в центре, а живем на окраине.

— А бывает наоборот?

— Нет, — усмехнулась она. — Наоборот не бывает. Кто в центре живет, тот там и работает. Вы тоже, небось, в центре живете?

— А я вообще не из этого города. Я проездом.

— Да?

— Да. Завтра отсюда улечу.

— Жаль.

— Почему же?

— Так, не знаю... А вы где постоянно прописаны?

— Я ~~просидела~~ в СССР.

— ~~Оби~~ ~~засмеяться~~. — А я, — сказала мне в тон, — в деревне Слепянка.

— Тоже неплохо. Это далеко?

— А как кончится город, так она и будет, Слепянка.

Впритык. На "тройке" не очень, а пешком, пешком да.

— А у вас в этой деревне большая изба?

— А что?

— Если большая, то я вас с мужем не стесню. Могу и в сенях переночевать, если уж на то пошло. Как-то тоскливо ночью снаружи.

— Охота внутрь?

— Охота, — признался я.

— Видишь ли... Тебя как зовут?

— Алеша меня зовут. Вон трамвай идет.

— Вижу. Только номера не вижу. Тут разные ведь ходят.

— "Тройка", — разглядел я.

— Наш, значит. Видишь ли, Алеша, во-первых, в избе той нам с ним только угол принадлежит. Снимаем мы. А во-вторых, он у меня сегодня в ночную. Так что...

— А в-третьих?

— В-третьих, хозяйка у нас, как ее собака.

— Злая?

— Да не злая, а так — пустобрех. Ничего и не было, а так тебя распишет — не отмоешься.

Мы молча смотрели на подходящую "тройку". С лязгом трамвай затормозил, озарив нас на миг ореолом искр. Дверцы разжались. Эльза решительно тряхнула кудряшками:

— Ладно! поехали.

На ней был трикотажный свитерок, бледно-сиреневый, и юбка в обтяжку. Каблучки салатových "лодочек", сношенных до железной основы, лязгнули, взбираясь по ступенькам. Ноги у нее были коротковаты, но и Мерилин Монро, если вспомнить, длинноногостью не отличалась. Она оглянулась, поднявшись:

— Чего же ты?..

Но у меня ноги словно приросли к этому "островку спасения". Мне было страшно. Не хотел я на окраину. Там меня зарежут хулиганы. Меня, можно сказать, аристократа... И стыдно мне было — с такой. В следующее мгновение я вспрыгнул внутрь с такой решимостью, что расшиб себе колено — вдобавок ко всем травмам этого бесконечного дня.

Свет в трамвае был потушен, и, озаряемые слепяще-мертвенными уличными фонарями, мы с Эльзой, сидя на заднем сиденье, скользили во тьму окраины. Чем дальше, тем, казалось, глуше ночь. На остановках трамвай уже не останавливался, проскакивал, спеша куда-то. Мы не соприкасались, между нами была пропасть в сантиметр. Одной рукой я сжимал потный металлический поручень, другую держал на колене — на ушибленном своем, и был неподвижен, а правая моя половина чутко пульсировала на краю этой пропасти. Погодя, с непонятым вздохом Эльза отвалилась в угол, торсом, отчего я чуть не задохнулся: будто живой, край ее юбки прикоснулся к грубой парусине моих штанов. За окном слева проскользило что-то сюрреалистичное: из-за копьевидной решетки, за которой гучно б е л е л а листва, ко мне протянул руку белый Ленин. Он был похож на мельника, извалявшегося в муке. Я поднял глаза. На здании с темными окнами была надпись: "Типсовый завод имени Ленина". Стало быть, мы уже въехали в рабочий район. Мы проехали еще немного после этого жуткого завода и резко затормозили. Дверцы раскрылись наружу.

— Трамвай дальше не идет, — объявила водительша.

— А еще один будет? — спросила девушка, выходя спереди.

— Не будет, последняя я.

Я повернулся к Эльзе. Она спала, держа в сцепленных между коленей руках сумочку из кожзаменителя.

— Эльза, — позвал я.

— А?..

— Мы приехали.

— Куда это?

— Не знаю.

Как во сне, она спустилась наружу и пошла, шаркая "лодочками". Трамвай ушел налево, в парк, светившийся огнями на горизонте, а мы пошли вперед, на дамбу, по обе стороны которой темнели провалы. Оттуда, снизу, веяло сырой свежестью. Впереди, за дамбой, призрачно белели семизэтажные дома спящего микрорайона.

Проснувшись на ходу, Эльза засмеялась. Ей приснилось, что, сидя за конвейером на своем "чистом производстве", она уронила паяльник, раскаленный, но вместо того, чтобы расставить ноги и дать ему упасть, она его поймала, зажав между коленей.

— И, представляешь, совсем не больно! Скажи, странно?

— Так то во сне, — рассудил я. — Сны и должны быть странными.

— Точно, — сказала Эльза. — Если бы во сне было, как в жизни, то лично я бы удавилась от скуки.

— Разве тебе скучно жить?

— А тебе нет?

— Мне нет. Жизнь, — сказал я, — странней любого сна, по-моему. Вот я, например, иду с тобой, и все мне странно. Там вот, — показал я направо, — что на горизонте? Не стадо ли оживших мамонтов?

— Элеватор там. Хлебозавод.

— Поэтому так хлебом пахнет? — потянул я носом.

— Нет, — понюхала и она, — это не то с гипсового, не то с маргаринового тянет. Но это еще ничего, сейчас гарью начнет вонять. С завода автоматических линий. Есть тебе, наверное, охота, вот и пахнет хлебом. Погоди, сейчас придем.

— Куда?

— Там увидишь.

Некоторое время мы поднимались главной улицей микрорайона, мимо домов, темно глядящих глухими фасадами друг на друга. Потом Эльза свернула в проезд направо, и нас объяла темнота двора. Вслед за ней я поднялся на крыльцо, перехватил ручку двери и вошел в вонючий подъезд.

— Капуста в подвалах гниет. Жильцы в подвалах своих ее держат. Квашеную. И картошку. Осторожно, ступенька.

На лестнице было темно. Эльза остановилась на площадке первого этажа, и я налетел на нее, а налетевши — как-то само собой получилось — обнял.

— Ты с этим погоди, — сказала она, расщелкивая сумочку и звеня ключами.

Вслепую она открыла дверь квартиры, и вслед за ней я переступил порог.

— Вот ты и внутри, — сказала она, включая свет.

— Что? Да, — усмехнулся я. — Спасибо. Но это как-то непохоже на деревню. Городская квартира.

— А ты что думал? Что я такого, как ты, в деревню поведу? Вот тут ванная. Тут это... туалет. Если надо.

Она включила свет на кухне и со стоном повалилась на стул.

— Цивилизация, да? Мне бы такую квартиру! Ничего больше в этой жизни не хочу.

— А эта чья?

— Эта? Одних тут... долго объяснять. В общем, оставили мне ключи. Присматривать, чтоб не обокрали. Цветы поливать. А сами на юге отдыхают. Богатые люди.

На столе лежала половина засохшего батона и неумело вскрытая консервная банка.

— Ничего, — утешил я Эльзу, — будет и у тебя такая.

— Откуда?

— Государство даст.

— К пенсии, может, и даст. Только взамен всю жизнь сначала отберет. А тогда мне зачем? Внуков нянчить? Нет, мне б мою жилплощадь сейчас бы дали, я б в рассрочку ее хоть по гроб жизни с моим бы удовольствием бы отработывала, — так нет... мыкайся по углам. Алеша? — Я оторвался от виноватого созерцания ее рук, небольших таких крепких девичьих рук со следами ожогов, с облупившимся маникюром на ногтях и золотым обручальным кольцом на положенном пальце... — Чего скучаешь, давай поиграемся!

Я почувствовал, что краснею.

— Во что?

Она насмешливо сказала:

— В папу с мамой. В чего ты с девчонками играл, когда был маленький.

— Я не играл.

— Оно и видно, — как бы с сожалением бросила она. — Нет, серьезно, давай поиграем, как будто все это наше. Квартира, и все тут. Твое и мое.

— А мы кто?

— Как кто? Не любовники ж. Муж с женой, все по закону.

— Давай. Только ты, — сказал я, — кольцо сними.

— Не все ли равно? — Она сняла кольцо. — Золотое, между прочим. — Положила на стол. — Некоторые придают этому значение, я нет. У нас из КБ один женатик глаз положил на одну стерву из ОТК. Незамужняя она. Уж так он ее обхаживал. А сам кольцо носит. Ладно, та ему говорит, дам разок. Но если ты меня вот этим кольцом, значит... Понимаешь? Ну, чтоб с пальца переснял он его на причинное место. Этим она, значит, отомстить жене того хотела, что та мужняя жена, а она так. Есть же такие стервы.

— А тот?

— Надел.

Я взглянул на ее кольцо, оценивая диаметр. — Не может быть.

— Было ж.

— Как же он ухитрился?

— Откуда я знаю? Инженер он, — с некоторым пренебрежением пояснила Эльза. — Как-то протащил. В спокойном состоянии, я думаю. Ну, а потом возбудился. Обратно не снять. Та уже в неотложку звонит, а ей отвечают: "Слесаря вызывайте. Из Бюро добрых услуг. Спасли его, короче, но позор, и кольцо пропало.

— А жена его бросила?

— Почему? живут.

— Абсурд, — сказал я. — Все эти ваши браки одно вранье и бессмыслица.

— Что вранье, то да, а насчет бессмыслицы... Жить-то надо. Попробуй на одну зарплату выжить. На две и то... еле-еле.

Передо мной вдруг открылась такая беспросветная и гнусная перспектива, что вместо обычной тревоги, сквозившей в душу из неизвестности будущего, я почувствовал тошноту.

— И вообще вся эта "взрослая" жизнь, — обобщил я, — говно. Ненавижу все это. И играть в нее с тобой не буду.

— Как хочешь, — сказала Эльза. — Только ты не выражайся, тебе не идет. И так кругом один мат-перемат. Хоть одну ночь давай по-человечески поговорим. Есть хочешь?

Я не ответил. Она была из "взрослого" мира. Тоже.

— Холодильник тут выключен, но у меня в сумке булочка. С изюмом?.. Ну, как знаешь. — Она сбросила "лодочки", поднялась на ноги и прогнулась, подпирая поясницу. — Лично я под душ и спать. Тебе в спальне постелить или в салоне?

— Один хуй.

Рассмеявшись, она слегка толкнула меня пальцами в лоб и ушла в ванную. Несмотря на припадок пессимизма, уши мои чутко дрогнули на приглушенный дверью шум снимаемой юбки, свитера, лифчика и трусов. Я извлек из нагрудного кармана пачку сигарет "Подпольск" и закурил под веселый звук душа. Город был паршивый, но сигареты здесь лучше московских, не говоря уже о ленинградских. Хотя с моего места коридорчик не просматривался, она выбежала из ванной с возгласом: "Только не ослепни!" И стала напевать что-то в глубине квартиры. Я докурил третью по счету сигарету, погасил ее неторопливо в консервной банке, которую она тут в одиночестве вскрывала ножом, рискуя порезаться, растегнул и стащил рубашку, свалил на стул штаны. Пошел в ванную. По потолком, на леске, растянутой тут в несколько рядов, висели только что выстиранные трусы салатного цвета, и это значит, что в постель легла она беспрепятственно голой. Меня пробрал озноб. Я забрался в ванну, и, дрожа на корточках, поспешил обрушить на себя воду погорячей. Из гигиены я не стал вытираться чужим полотенцем, решил обсохнуть, а заодно и побриться. Я вытряхнул из чужой бритвы ржавое лезвие и вставил чужое новое, вынув его из облатки. Не тупое ленинградское, как можно было ожидать, а страшно дефицитное шведское лезвие "Матадор". Лосьона после бритья не употребляю. Да и нет их, лосьонов. Не "Огуречный" же. Холодной водой. Как можно холодней. Все это время у меня не то, что стыл — рвался ретиво прочь, но во время бритья несколько образумился, сбавил подъем и напор, и подобрался. Резонный, как стрелянный солдат перед атакой. В таком состоянии я смог вправить его в плавки.

Я курил на кухне, когда из соседней комнаты, где вочкалась и вздыхала Эльза, раздался стук в стену. "Сейчас", — ответил я. Пошел и остановился на пороге комнаты, в которой было темно, только щель зашторенного окна серебристо мерцала от уличного фонаря. "Чего стоишь? Темноты, что ли, боишься?" — спросила она из постели. Это была двуспальная кровать, огромная, почти на всю комнату. Я перешагнул порог и лег рядом с Эльзой. "Чего ты на одеяло лег? Ложись под". "Жарко..." "А сам зубами лязгает! Давай, накрывайся". "Подожди, — сказал я, — свет на кухне забыл". Удалившись на мгновение из ситуации, я спросил себя: "Неужели? Неужели вот сейчас и произойдет это?" Все это как бы не со мной происходило, а с кем-то, от меня отслоившимся, с двойником. Пытаясь унять дрожь, которая и под одеялом не прошла, я сказал: "Я думал, ты уже спишь". "Как-то, знаешь ли, расхотелось, — ответила она с соседней подушки. — Весь день говоришь себе, только бы до кровати дорваться. Одно желание: спать, спать, спать. А дорвешься, и не уснуть никак. Аж плакать хочется". "Это от переутомления. Сделать тебе массаж?" Она повернулась ко мне: "Чего?" "Массаж, — повторил я. — Как в спорте, знаешь?" Расхохотавшись, она упала лицом в подушку. Плечи ее обидно тряслись. "Ничего смешного, — сказал

я. И положил ей на спину ладони. — Усталость как рукой снимет. Вот увидишь. Расслабься”, — поколотил я ее ребром ладони. Я взялся за ее мышцы с таким альтруизмом, словно партнера по секции классической борьбы отбивал, разминал, растирал и поглаживал, и даже на какое-то время опять совпал со своим дрожащим двойником. Но когда я откинул одеяло дальше, я не смог убедить себя, что под ладонями у меня всего-навсего ягодичные мышцы. Я сглотнул и сказал: ”У тебя, Эльза, замечательная кожа, знаешь.” Огибая ягодичцы, прохладные и матовые наощупь, мои руки скользили гладко и отлого к ее пояснице. ”Кожа как кожа”, — глухо отозвалось сверху. ”Такая нежная. Такая упругая”. ”Говоришь много”. ”На то, Эльза, и язык”. ”А с женщиной не языком работать надо!” — и с этими словами с внезапно резкой, как бы дельфиньей силой тело ее гибко развернулось, и стиснуло меня ногами. Властно. Сердце у меня бухнуло сильно — и пропало. Мой бездыханный двойник некоей туманностью навис над белеющим телом. Сдвинув колени и опираясь на локти, он слепо тыкался чем положено куда должно, но ничего, кроме терпимой рези от волос, не испытывал, толкался, но не попадал, и в этом было нечто настолько глупое, телячье-щенячье, что туманность над женщиной наполнилась виной и стыдом. ”Не нахожу”, — выдавил он отчаянно, чувствуя, что еще немного и слезы брызнут из глаз. ”Ищи, — отозвалось под ним. — Я с тобой не в прятки играю. Или помочь?” Но он перехватил в запястье ее снявшуюся было с простыни руку. Он все еще был снаружи, осторожно толкаясь. Терра инкогнита. Он ее зондировал. Наконец ему почудилось под волосами, которые только все затемняли и путали, некую податливость, впадинку, ямку. Он послал женщине мысленный вопрос. Она ответила насмешливым молчанием. Он надавил нерешительно, и его обняло теплой лепестковой вялостью. И снова остановило. Он снова толкнулся, и чуть не вскрикнул от ликующего торжества, раскрывая женщину изнутри, влажную, обжигающе-жаркую, живую, до упора. Он победительно скосил глаза на лицо под ним, вытаскился настолько, чтобы не потеряться снова, и толчком одним заполнил ее опять. ”Хорошо, — ответила на это она. — В этом духе и действуй”. После чего он с возрастающей уверенностью стал опустошать и заполнять ее для взаимного наслаждения. ”Можешь еще сильнее”. Раз так, он стал вкочлачиваться изо всех спортивных сил, и она стала вскрикивать, одновременно пожимая его предплечье в знак того, что не от боли это, а наоборот. Чтобы не так пронзительно вскрикивать, она укусила подушку. Она очень чутко при этом следила за ним, так что когда он остановился и — на самом краю оргазма — попятился из нее, чтобы кончить по методу коитус интеруптус, прочитанному в книге, допустим, на живот, она вцепилась в его ягодичцы и выйти не дала. Тогда — а, была не была! — он в три толчка восстановил ритм и пыл, и кончил. Внутри. И растаял.

Отвалившись на спину, я лежал неудовлетворенный еще, но абсолютно счастливый, а она ласкала мою голову.

”Славный ты парень, — сказала она. — Я у тебя первая, что ль?”

Я кивнул.

”А даже не скажешь: так у тебя здорово получается. Если б ты не запнулся вначале, никогда б не подумала. Ну ничего. Лиха беда начало. Дальше, как по маслу у тебя пойдет. Ты завтра улетаешь?”

”Должен”.

”Может, останешься? Жаль, квартира пропадает. Мой-то сюда не ходит, робеет. В первый день только и был, телевизор

мне принес. Чтобы не скучно мне тут было. А потом мы с ним в эту неделю сменами разминулись, я в день, он в ночь. Не помешает. А?”

”Не могу я”.

”Сегодня я не в форме, а завтра б как на крыльях прилетела. Полежишь, считаешь. А я водочки куплю, приготовлю чего-нибудь. Отужинаем как люди, а там уж я тебя помучаю до третьих петухов... Ну, чего молчишь?”

— ”Хорошо, — уступил я. — На день”.

Она порывисто подмяла меня, сказала: ”А хоть на всю оставшуюся жизнь!” и стала целовать, быстро, часто. Я поймал ее откачнувшуюся голову и, глядя снизу, сказал:

”Больше не делай перманент, ладно? Просто обидно с такими волосами”.

”Не буду”. Бедрами она стиснула неотъемлемый мой член.

”Отпусти их и подвей, но слегка. Будешь неотразима. Как кинозвезда”.

”Ну, не томи ты меня!” — рассердилась она.

”Устанешь, и завтра норму не дашь”.

”Еще разок, а? давай? Чтобы лучше спалось? Или я тебе не нравлюсь?”

Я засмеялся и одним рывком уложил ее на лопатки.

Давно уже я не спал так крепко и сладко. Проснулся я к полудню, поперек двуспальной кровати, весь в испарине. Эльзы не было. Изнанка шторы так и сочилась утренним солнцем. Приглушенный грохот транспорта наполнял спальню вибрацией. Над изголовьем чужой кровати, в которую занесла меня судьба, висел ковер с репродукцией картины русского художника-почвенника Шишкина ”Утро в лесу”. Излюбленный нашей коврово-ткацкой промышленностью сюжет: семейство медведей среди сосен, вывороченных с корнем. Наутро после урагана. С минуту, лежа на спине, я созерцал ковер, потом отбросил простыню, принял душ, смазал кремом ”Нежность” стертые свои локти, оделся, прочитал и сжег на всякий случай записку, оставленную мне на кухне вместе с ключами. Запер квартиру и поехал в центр, в железнодорожное агентство. Там была не очередь, а толпа, с которой безуспешно пытались справиться три милиционера. Еще вчера я не решился бы сговориться с девушкой, стоявшей третьей от кассы, чтобы она взяла мне без очереди билет до Сочи, но сегодня, в качестве новоявленного м у ж ч и н ы, я был дерзок, предприимчив и убедителен. Девушка денег не взяла, но шепотом предложила стать рядом. Когда сзади закричали, оспаривая мое право, я повернулся и сказал: ”Я — брат”. ”Он брат”, — подтвердила девушка. ”Знаем мы таких братьев”, — сказала очередь, но тем не менее призывать милиционера для проверки родства не стала, да он бы и не пробился к кассе. Через пятнадцать минут я вырвался из давки на залитый солнцем проспект Ленина. С билетом на завтрашний скорый. До Сочи. Что я там забыл. в этой ”черноморской жемчужине”, об этом я старался не вспоминать. Образ Дины как-то подернулся Дымкой, и я упустил конечную цель из виду. Но как говорил идейный враг Ленина: ”Цель ничто, движение — все”. И я разделил враждебную установку. Главное — движение, процесс!

При свете жаркого солнца и, главное, с билетом в руках мое отношение к городу Подпольску изменилось. Конечно, богатые жилые дворцы центра в стиле сталинского ампира, и все это окольцовано бедными окраинными ”хрущобами”, в свою очередь омываемыми темной волной еще более нищего жилья, барачков, черных деревенок. Но все это, наносное, не

отнимало уже в моих глазах естественных достоинств города — он был холмист, он был зелен, над ним плыли задумчивые облака, и люди здесь были мягче, замедленней, свободней, и девушки были здесь — по сравнению с Москвой и Ленинградом — поразительно красивы, и вся эта отрадная душе провинциальная неиспорченность и наивность как-то размывала остроту социальных антагонизмов. Кроткий был город. Я его полюбил. Я в нем женщину познал.

Вечером, по просьбе Эльзы, действительно прилетевшей с работы, как ангел и с битком набитой продуктами сеткой, я бездействовал в гостиной. Здесь было старинное кресло-качалка, и я покачивался, почитывая книгу из хозяйской библиотеки. Книга рассказывала о том, как славный КГБ борется и побеждает ЦРУ, называлась по-библейски "Тайное становится явным" и была бесконечно далека от хлопот и сует моей Эльзы, которая тем временем сервировала праздничный стол на двоих — и не на кухне, а здесь же, в "салоне". Когда она входила, я отрывался от очередного подвига наследников Дзержинского и устремлял свой взгляд на нее, неотразимую, но четко ограничившую пока что свое возбуждение столом. Перед работой она побывала в парикмахерской, где не только развила свой перманент, но еще и сделала маникюр с педикюром, покрасив ногти, и на пальцах ног тоже, алым лаком. Придя с работы, она сбросила "лодочки" и переделалась в чужой махровый халатик, в белый, туго затянув пояс. Поймав мой взгляд, она посылала мне из нимба платиновых волос кроваво-красную улыбку женщины-вампа, краткую, но многообещающую. После очередной такой улыбки книга соскользнула с моих колен на пол, но Эльза увернулась от меня, совершенно уже обалдевшего:

"Будет еще время..."

— А почему ты носишь крест, Алеша? — спросила она после того, как мы выпили по первой "за знакомство". — Ты разве не комсомолец?

— Комсомолец, как же, — кивнул я. — Как советский человек, комсомолец, но как русский — христианин. Нет, я после первой не закусьваю.

— По рождению?

— Угу. Я ведь крещеный.

— Но ты ведь не веришь во все это?

— Ну, почему, отчасти верю, — пробормотал я, вышивая вторую рюмку, которая прояснила мое отношение к вопросу...

— А вообще-то нет. Не верю я.

— Ну да?

— Да, — кивнул я, чувствуя себя легко и бесшабашно, и весело — чисто по-русски.

— А крест носишь.

— Просто на память. О бабушке. Сувенир. Вернее, талисман. Вот как летчики иногда носят. Батя мой, к примеру, тоже носил.

— Он что, летчик был?

— Еще какой! Ас. Посмертно героем стал. СССР.

— Разбился?

— Ага. Не помог ему крест.

— Мой папа тоже погиб, — сказала Эльза, разливая. —

Тоже военным был. Только с другой стороны воевал.

— То есть? — не понял я.

— С германской.

— Он что, немец был?

Она виновато потупилась:

— Немец...

— Вот почему ты такая красивая! У тебя же идеальная арийская внешность.

Недоверчивый взгляд серо-голубых глаз.

— Красота есть красота, — поспешно сказал я. — Ничего плохого нет, если ты красива по-германски. Красота мир спасет. Достоевский говорил. Давай, за тебя.

Прежде чем выпить, Эльза уточнила, кто говорил.

— Моя, — сказала она, — мир не спасет. Я из-за этой красоты едва сама не погибла. Столько хлебнула горя, что не приведи Господь кому. Не родись красивой, а родись счастливой — это, по-моему, более в соответствии сказано. А ты серьезно находишь меня красивой? У меня же нос.

— Он тебя только украшает! Он, если хочешь, совершенно преображает тебя. Будь у тебя прямой нос, твоя красота была бы слишком холодна. А так ты больше, чем красива. Ты милотлива. Мила! Твоя германская красота одушевлена русской курносостью.

— Твоя правда, нос у меня от мамы, — сказала она так, что я не стал спрашивать, что с мамой, "немецкой подстилкой", по клейму тех озверелых лет, случилось. Она подняла голову. — Ну и феномен ты, Леша! Молоко на губах не обсохло, а выступаешь прямо как... не знаю. Прямо по-книжному выдаешь. И вправду, может, писателем станешь, кто тебя знает. Молодой да ранний. Давай теперь за тебя. — Мы выпили за то, чтобы из меня получился писатель, и Эльза, подпершись ладонью, сказала: — И откуда ты на мою голову свалился?

Зная о своей избранности, я скромно промолчал.

— Ты закусьвай давай, не то захмелеешь, мой мальчик. Селедочку вот бери. Я ее по-еврейски приготовила. "Под одеялом".

— Вкусная, — сказал я. — Откуда ты по-еврейски умеешь?

— А меня евреи воспитали. Подобрали, можно сказать, на помойке и выходили. Хорошие люди. Жаль, уехали.

— Куда?

— За границу куда-то. Не в самую ли Америку. Мир-то, он по ту сторону велик.

— По эту тоже не мал.

— Не мал, — согласилась она. — Но деваться в нем некуда.

Куда ни сунься, одно и то же.

— А любовь? — возразил я.

— Где она, любовь-то?..

— Перед тобой, — сказал я, собственноручно разливая водку. Чувствовал при этом я себя персонификацией Любви. — Нет, скажешь?

— Ангел ты мой залетный. Ну давай за нее. Только по последней, да?

Под столом ее босые ноги наступили на носки моих полукед, которые я тут же сбросил, подставляя ее ласкам наготу своих ступней. Мы выпили, глядя друг другу в глаза, после чего, бросив все, как было, удалились в спальню.

С рассветом перед нами опять возник ковер "Утро после бури". Корабельные сосны, развороченные ночью, корни наружу, косматые медведи, самка и самец с выводком детюшек, выползшие на солнце после катаклизма. Заштампованный прикроватный образ, но в известной мощи — медвежьей — отказать ему нельзя. Насмотревшись на этих медведей, я тронул Эльзу: "Ты не спишь?" "Не, — сонно ответила она. — Давай, не стесняйся. Мне не мешает, наоборот, укачивает..." Я раздумчиво поглаживал ее ягодицу, прижатую к моему паху. Кривую ее бедра, круто и плавно съезжающую к

тали. Я был в ней; отстранившись, я созерцал ее спину, свой впалый мускулистый живот, склеившиеся колечки своих волос в паху и время от времени приводил в движение мускулы, чтобы сохранить эрекцию. Но дело было не в этом. После оргазма я как-то задумался на общие темы. "Не в этом дело, — сказал я. — Эльза?" "У?" "Я тут за спиной у тебя знаешь к какому выводу пришел?" "Ну?" "Что нам бы пожениться не мешало". Она развернулась с уже знакомой мне гибкой силой так, что, вылетев, член мой шлепнул меня по животу. "С ума сошел, что ли?!" — сна как не бывало. Испуганные глаза в подтеках туши. Волосы ее спутанно сваливались набок. Я погладил ее по щеке, там, где у нее был пушок. Кожа лица наощупь была обмякше нежной. "Нет, не сошел", — сказал я. Она двинула ко мне колено. "Ложись-ка..." Я устроился у нее между ног, и она своими пальцами с темными от лака ногтями разогнула мой член и вставила обратно. Так, без аффектации. Привычно. Я лежал, подпершись кулаком, а левой рукой поглаживал слежавшиеся волосы на наших упершихся друг в друга лобках. Ее были светлые, мои темные. Это было красиво. И у нас были очень красивые лобки. Широкие и надежные в любви. "А как же Михаил?" "Муж, что ли?" Я стал наматывать на палец наши волосы. "Он самый". Я усмехнулся недобро. "Нет, — возразила Эльза, — он не плохой. Малопоющий. И руки, как говорится, золотые. Телевизор вон ими собрал". "Михаила, — сказал я, — бросишь. Пусть по себе найдет. Бабу домовитую". "Ну, брошу... Но я же старуха. 23 мне! Шесть лет разницы у нас". "Пять". "Зачем я тебе, такому, сдалась? Ну, кто я, сам посуди? Я ведь такое знавала, с самого детства... А кем я только не перебивала до "чистого" производства! И полы мыла, и улицы мела. Я даже армию отслужил. Да. Вольнонаемной. А ты, ты студент. Вся жизнь перед тобой. Ты уж не сердись, Алеша, но я знаю, о чем говорю. Нет. Давай лучше делом займемся, а то времечко зря уходит". Она боднула меня бедрами, но я остался безучастным. "Да", — упрямо сказал я. "Господи, ну зачем?!" "Затем, что в тебе есть небо". "Че-е-его?" "Небо", — повторил я. "Ты, верно, перетрудился, Алеша. Мелешь невесть чего. Не хочешь меня, так поспим немного". "Я хочу, — сказал я, — но я на всю оставшуюся жизнь хочу".

Сотрясая комнату, за окном прошел первый утренний трамвай. Она откинулась на подушку и, раскрыв выбритые для меня подмышки, подложила ладони под голову. "Поздно уже".

"Можно сказать и рано".

"Я, мой мальчик, не об этом. Беременная я".

Моя ладонь продолжала, как ни в чем не бывало, ласкать ее грудь, но восстановить разом упавшую эрекцию я не мог. С другой стороны, живот у нее был нормальный. Впалый.

"Еще ничего не видно, — сказала она, — но уже третий месяц пошел".

"Ты врешь!"

"Говорю, как есть. По-твоему, почему я давала кончать в себя?"

"Почему?"

"Поэтому. — И добавила: — Мальчик".

Оскорбленно я выдернул обманутый член и отвалился на соседний матрас. Эльза сказала:

"Обиделся. Тебе бы радоваться, а не дуться. Когда ты еще встретишь такую. Чтобы кончать внутри без риска влезть в хомут".

"От кого ты беременна?"

"От Святого Духа, от кого".

"Аборт сделаешь".

"У меня их уже столько было! Еще один, и все, конец".

"В каком смысле?"

"Родить не смогу".

"Родить... Как будто в жизни это главное!"

"Для кого как, а для меня да. Не понимаешь ты, Алеша.

Позади меня такая пустота, что удавиться легче, чем жить. Ну, кто я? А рожу, так хоть матерью кому-то стану".

"Позади меня тоже пустота. Но отцом я становиться не собираюсь. От тоски размножаться дальше? Нет уж. Я со своей тоской как-нибудь в одиночку проживу".

"Тебе легче. Вам, мужчинам, вообще легче. Легкий вы народ в отличие от нас, баб".

"Ты не баба".

"Баба, мой мальчик. Б а б а".

"Ладно, — признал я. — Ди эрвиге вайбе. Раз уж ты так настаиваешь".

"Это ж по-каковски?"

"Вечная женственность" значит. На языке твоего отца".

"Вот я и говорю, — вздохнула Эльза. Образованный ты уж больно..."

Перед тем как уйти навсегда из моей жизни, она вспомнила, что забыла полить цветы. Провалившись целый день взаперти "под медведами", я спохватился, что скоро на вокзал, а цветы так и не политы. Они стояли в гостиной, их было много. Хозяева, видимо, были неплохие люди. Во всяком случае, им хватало провинциальной непрагматичности на то, чтобы ухаживать за этой комнатой — абсолютно бесполезной — формой жизни. Под большие горшки были подставлены супные тарелки, под маленькие — блюдечки. У моей бабушки тоже были цветы. Она кормила голубей и воробьев. До войны у нее даже был кот, но после того, как во время войны этого кота съела соседка, бабушка своих кошек не заводила, только чужих подкармливала, вынося на лестницу блюдечки с молоком. Вспоминая обо всем этом, я старательно поливал сухую землю в горшках из носика темно-зеленого эмалированного чайника, когда в дверь постучали. По рассеянности я открыл. На пороге стоял мрачного вида увалень. В руках он держал сложенную детскую коляску. Новенькую.

— Михаил, — буркнул он. — А ее, что ли, нет?

Не надо было открывать!..

— Кого?

— Моей, ну, Эльзы.

— Эльзы? Так она же в день работает?..

Увалень смутился, выразив это тем, что перевалился из стороны в сторону.

— В день, — признал он мою правоту.

— Вы что же, забыли?

— Да не! Не... Я тут вот в "хозяйственном" вашем три часа стоял. Так думал, воды попить у вас. Вдруг, думаю, приехали? Коляски в "хозяйственном" выбросили. Дай, думаю, возьму. Впрок.

Я вынес ему стакан воды из-под крана. Помутневшие в духоте очереди глаза будущего папаши с каждым глотком прояснились, но эта ясность нехорошего была свойства. Он на глазах делался подозрительным. Ручища у него были здоровенная. Металлическая пыль несмываемо въелась в поры кожи, а на запястье был след от недавно выжженной наколки, еще разборчивой: "Нет в жизни счастья". В пору юности им, видно, тоже овладевали приступы мировой тоски. Он вернул мне стакан.

— Вы им, собственно, кто?

— Я?... — Я поставил стакан на подвешенную тут в прихожей полочку под небольшим трехстворчатым зеркалом. — Родня я им. Из Москвы.

— Ясно... — И давно, значит, приехали? — Глубоко всажженные глазки так и буравили меня.

— Только что, — сказал я. — Несколько часов. Самолетом прилетел.

— Ее, значит, застали?

— Эльзу? Застал. Она как раз на работу уходила.

Он бросил взгляд в приоткрытую дверь спальни, которую я заслонял собственным телом.

— Так... А то хозяйка говорит, моя вторые сутки дома не показывается. Дай, думаю, загляну, не здесь ли она. Так что, значит, я телевизор наш с ней могу забрать? Раз вы тут теперь.

— Конечно, — сказал я. — А как вы его возьмете?

— А вот в коляску. — Муж Эльзы на весу расщелкнул детскую коляску, которая в готовом к употреблению виде стала еще более отвратительной.

— Я вам помогу?

— Да я сам. — Он выдернул из розетки провод и взял телевизор в охапку. — Много ли делов. — Погрузил в коляску, скрипнув рессорами. Любовно огладил полированную крышку. — Между прочим, этими вот руками собрал. Да! Вроде дешевле купленного обошелся. А так ведь не отличишь, а?

— Вид вполне магазинный, — объективно оценил я.

— Я лично телевизор люблю посмотреть, — заявил он, польщенный. — С работы придешь, борща тарелку — и смотришь. Душа отдыхает. Есть очень хорошие программы, знаете? "Вокруг света" или там, особенно люблю, "В мире животных". У вас-то, я смотрю, нет еще телевизора.

— Нет.

— Зря вы это. Надо смотреть. Чтобы, значит, это — в курсе быть чем живет страна.

Взял в охапку коляску и вышел на лестницу. Оглянулся:

— Да! Если она после работы забежит, вы ей, значит, передайте: Михаилу отгул дали. Чтоб не задерживалась, домой шла. Ладно? А то не дело это.

Я закрыл дверь. Вошел в спальню. Медведи, с которыми я как-то уже сроднился, нависали над растерзанным ложем моей советской любви. Я упал лицом в душные простыни и оторвался только, когда затрещал будильник. Подержал под холодной водой опухшее от слез лицо, утерся, захлопнул дверь, лязгнувшую английским замком, и поехал медленным трамваем на вокзал.

(Продолжение следует)

РУССКАЯ МЫСЛЬ

**КРУПНЕЙШАЯ РУССКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА НА ЗАПАДЕ.
ВЫХОДИТ С 1947 ГОДА.**

Новости из Советского Союза и материалы Самиздата.

Публикации в защиту гонимых.

Анализ политической ситуации в мире. Регулярные публикации материалов о борьбе с коммунизмом. Лучшее в западной прессе освещение событий в Польше.

Постоянные обзоры войны в Афганистане.

Проза. Поэзия. Публикации забытых и редких произведений.

Рецензии на книжные новинки и журналы. Мир искусства.

Жизнь российского зарубежья.

«Русская мысль» выходит по четвергам в Париже.

Подписная плата на год

	Обычной почтой:		
	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74 фр.	138	265
Все остальные страны	107	204	397

Воздушной почтой:			
Европейские страны.			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка.			
Южная Африка	146	281	530
Австралия.			
Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год приложение «Обозрение», аналитический журнал «Р.М.» под редакцией А. М. Некрича.

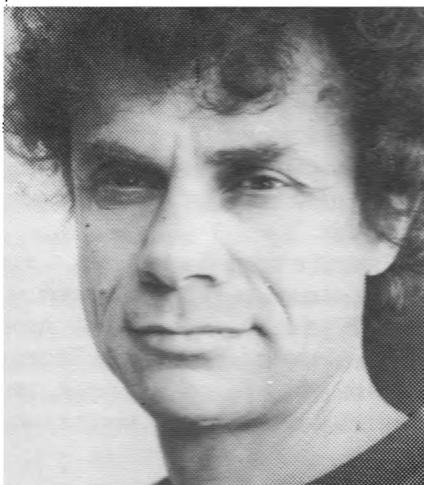
Адрес редакции: 217, rue Faubourg St. Honore, 75008 Paris.

Телефоны: 563-94-47, 563-21-83.

СТИХИ

«ОТДАЙ МОЮ ДЕРЕВЯННУЮ НОГУ»

Михаил Гробман



СИНАЙ

Здесь Моисей служил народу сорок лет
Радиостанции поставил
И танковые части послал на перевалы.
Здесь горных куропаток след
И мертвый дух народов
Лежат на склонах гор.
И в стульях раскладных сидят на склонах гор солдаты
И грезят о мясных горшках
Мясных горшках, мясных горшках
На полках Тель-Авива, Иерусалима, Натани
Беер-Шевы, Петах-Тиквы, Бет-Шемеша, Афулы...
И над горшками мертвый дух народов.

Здесь Моисей служил народу сорок лет
Здесь сбрасывал своих парашютистов Навин.
И до сих пор
Военные шиферы стучатся в небеса.
И склоны гор покрыты черепками посудными,
осколками бутылок кока-колы, обломками шезлон-
гов, обрывками египетских надежд.
И гром небесный в багровом облаке стоит.
И дождь кровавый бьет по черепах солдат.

18, 24 ноября 1978 г.

Махане Лимоза, Синай.

* * *

Металла и огня жестокий резонанс
Окутывает в колыбели ночи нас.

Воздушных судорог немое торжество
Нам отзывается травой и листвой.

И световой цветок в тиши ливанских недр
Пугает мысль и кровь зловещих сколопендр.

А вдоль поющих гор, насыщенных плодами
Струят свои крыла тоска и ожиданье.

И очи нежные из глубины пространств
Синайской верою сопровождают нас.

1 сентября 1975 г.

* * *

Я, рядовой номер два семь пять ноль девять один три,
Отрекаюсь сегодня от славы.
Я отрекаюсь от времени года,
от птиц и растений,
отрекаюсь от улиц, от ветра, от слова,
отрекаюсь от Бога.

Ангел смерти укроет меня
своим тяжелым крылом.
И только слезы прощанья,
только слезы любви
Будут мне утешеньем
В этом вечном безрадостном сне.

26 декабря 1979 г.
Шарм-аль-Шейх (Шенхав)

* * *

*Над медленным небом стоит несгораемый шар,
И блеск его страшен и молниеносен удар.*

*Его одиночество замкнуто белым огнем,
И молекулярною силой он движим и нем.*

*Его эллиптический сон невесом и незрим,
И в нашей крови с незапамятных лет растворим.*

*И в наших следах золотистых и в наших шатрах
Присутствует вечно тот пламенно-брошенный страх.*

*И вечно он призван деяния наши венчать –
Создателя око и труд – роковая печать.*

2,3 сентября 1975 г.

ХОЛИН

(твердо, приглушенно)

*В черной-черной стране
В черной-черной московской области
В черный-черный четверг
У черного-черного леса
В черном-черном озере
В черной-черной воде
На черной-черной глубине
В черном-черном купальном костюме
Черными-черными движениями
За черным-черным челном
Плывет черный-черный Игорь Холин
С черным-черным черепом в руке*

(громко, вдруг)

Отдай мою деревянную ногу!

6 мая 1981 г.

Иерусалим

СТИХИ «Отдай мою деревянную ногу»

ЛЕНИН

(твердо, приглушенно)

*В черной-черной стране
В черной-черной столице
На черной черной червонной площади
В черном-черном чертоге
На черном-черном чердаке
Среди черных-черных портьер
На черном-черном столе
В черном-черном хрустальном гробу
На черном-черном матрасе
В черных-черных тапочках
С черным-черным пятном на челе
В черной-черной тишине
Лежит черная-черная старуха*

(громко, вдруг)

Отдай мою деревянную ногу!

6 мая 1981 г.

Иерусалим

АВТОПОРТРЕТ

(твердо, приглушенно)

*В черной-черной стране
В черном-черном городе
В черных-черных Текстильщиках
В черном-черном переулке
В черном-черном доме
На черном-черном этаже
За черной-черной дверью
В черной-черной квартире
В черном-черном углу
У черного-черного окна
На черном-черном дырявом диване
В черном-черном чепчике
С черным-черным выражением лица
сидит черный-черный Михаил Гробман
Пьет из черного-черного чайника
Пьет черные-черные чернила.*

(громко, вдруг)

Отдай мою деревянную ногу!

6 мая 1981 г.

Иерусалим

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И ДРУГИЕ: ПРАВЫЙ МАРШ

Почти неизвестный на Западе, Юрий Кузнецов сегодня в России, пожалуй, еще популярней, чем Евтушенко в свое время. Критических восторгов на долю Ю.Кузнецова выпало (признал сам Евтушенко в одной из недавних своих статей) больше, чем всему предыдущему — то есть, "оттепельному" — поэтическому поколению в целом.

"Горланом-главарем" новой идеологии — назовем "новым мессианством" — Ю.Кузнецов, тогда еще 24-летний, заявил о себе в 1965 году, когда — в ответ на угрозу "Левого марша" Маяковского ("Кто там шагает правой?левой!левой!левой!") он дерзко бросил:

*Все сапоги шагнут, как надо, с левой,
А я не с той,
А я не с той,
А я не с той...**

Тем самым в поэзии была заявлена оппозиция "генеральной" линии соцреализма. Оппозиция **справа**.

Эмоционально обнаружила она себя еще в 1963 году. Вечером того памятного дня, когда Хрущев "идейно разгромил" молодых писателей, художников, скульпторов, вызванных к жизни его же "оттепельной" политикой, в Центральный дом литераторов на улице Герцена в Москве явился критик Вадим Кожинов в сопровождении двух поэтов. Все трое, по свидетельству очевидца, были в (неизвестно откуда взятых) кумачовых, фольклорно-русских рубахах.

Вскоре после низложения Хрущева, когда Брежнев притормозил порыв ресталинизации, "мозговой центр" "правого поворота", состоящий из столичных критиков в возрасте до 35 лет, приступил к просветительской деятельности. В результате ее массовому

* Игорь Федоров. "Литературная учеба", 1982.

Литература метрополии: взгляд из Парижа

сознанию было возвращено наследие русской консервативно-реакционной мысли XIX века — в частности, пророка "русской судьбы" Константина Леонтьева.

«Plus Nietzsche que Nietzsche même», — так оценивал К. Леонтьева его младший друг Василий Розанов, добавляя: "...Дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего не сделал), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики"***. Удрученный либерализмом царского самодержавия, Леонтьев ничего не имел против социализма. Более того: именно в социализме он прозрел наиболее действенное средство для осуществления своего мифа о всемирно-исторической миссии России. Перед смертью мыслитель предсказал явление на родине "социалистического Константина", который "организует социализм" в великую деспотически-завоевательную силу. Эта сила объединит человечество и сокрушит европейскую цивилизацию, которую уже тогда — сто лет назад — К. Леонтьев называл "гнилым Западом". Ради уничтожения Запада и нужно было (самые известные леонтьевские слова) "подморозить Россию" до сурового градуса деспотизма. Иначе, как говорится, хана. "Спасемся ли мы государственно и культурно? — вопрошал он. — Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии?.. Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы, окончательно смешавши всех и вся, написать последнее "мене-текел-фарес!" на здании всемирного государства... **Окончить историю, погубив человечество...**"****.

По мнению идеологов "нового мессианства", необходимым условием для реализации этих пророчеств является предварительное обезбожение и дегуманизация русского сознания. После 1917 года Советы, казалось бы, в значительной мере выполнили эту задачу. И однако — в начале 70-х годов — Петр Палиевский (сегодня он занимает пост заместителя директора Института ми-

ровой литературы) выступил со специальной теорией "жестокости"****. Эта теория состояла в том, что уже загодя необходимо готовить русского человека к пренебрежению самой "свирепой" жестокостью, ибо будущее нации, одержимое пафосом "истребления середины", допустят "наибольший нажим на человека". Кроме содержательного, несла эта теория и агитационный смысл: П.Палиевский **выкликал** из литературной среды новобранцев. Тех, кто мог бы — наследуя в этом Шолохову — освободясь от "устарелого XIX века" с его бременем Добра и Зла, помочь своей родине, все скованной "гуманоидными"***** предрассудками, **отпустить свою душу на волю**.

Последователи К.Леонтьева, выражаясь по-ленински, "разбудили" — если не Россию, то ее поэзию. К началу 80-х годов за каждым из леонтьевских тезисов — целая мини-школа. Тезис о "китайской государственности" разрабатывает Станислав Куняев:

Народ, держись своих вождей...

*...Ты хочешь воли — будет жизнь
и долгий спор племен.
И потому вождей держись
и не порочь имен.*

"Могучим мистическим настроением Индии" "заражает" национальное сознание поэт Валентин Сидоров, автор нашумевшей повести "Семь дней в Гималаях", в стихах которого Россия предстает безмерной и бессмертной империей духа:

*Мы за нее решали впрок:
Россия —
Город иль деревня,
Россия —
Запад иль Восток?*

*Плелись словесные узоры...
А у нее —
Свои дела,
И перечеркивает споры
Один лишь взмах ее крыла.*

*И вот она парит над нами,
И вот струит надземный ток.*

** Константин Леонтьев. Письма к Василию Розанову, Нина Карсов, Лондон, 1981.

*** Там же.

**** П. Палиевский. Мировое значение Шолохова. "Наш современник", 1973.

***** Юрий Кузнецов. "Русский узел", "Современник", М., 1983.

*Своими мощными крылами
Обняв и Запад,
И Восток.*

Что же касается идеи по "окончанию человечества", тут следует вернуться к Юрию Кузнецову – самому яркому из "мессианцев".

Изначальный импульс его творчества – острое чувство национальной униженности. Где-то в середине 70-х годов "русская" литературная Москва из уст в уста передавала высказывание (его приписывают Леониду Леонову) одного из советских классиков, так и не помирившего в своей душе большевизм с патриотизмом: "Мы живем в оккупированной стране". Это ощущение терзает лирического героя поэзии Ю. Кузнецова:

*Что говорю? О чем толкую?
К какому имени приник?
Хочу окликнуть мать родную,
Но позабыл родной язык.*

*Упала молния раздумья,
Не различая никого.
И смех безумья, смех безумья
Взорлил из сердца моего.*

*Какая даль, какие муки,
Какая русская судьба,
Что ни слова, а только звуки
Могу исторгнуть из себя.*

/6/

О том же пишет и вынесенный в 1983 году (все тем же В. Кожинным) на орбиту общенационального внимания поэт из города Галича Костромской области Виктор Лапшин: "...Я по родному краю / Тоскую в краю родном". Как к избавительнице взывает поэт-костромчанин к "Государыне грозе"*****. Но Ю. Кузнецов – иное дело. Он лишен почвеннической надежды на постепенное "проявление" России сквозь денационализирующую муть советизации. В национальное восстание он тоже не верит. И Бога для него нет, Его – умертвили:

*Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли в этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попроситься,
Мы пришли в этот храм зарыдать.*

***** Виктор Лапшин. "Литературная учеба", 1983.

"Забыл о самом высоком", но еще хранит память о своей имперской стати, о богатырстве коллективный герой Ю. Кузнецова – народ. И что ему остается?

*Держали землю три кита...
И стал он китобоем.
Кричал на берег: – От винта!
И водку пил запоем.*

*Из трех китов убил он двух...
...И на бревне верхом
Пошел последнего кита
Он брать одним ножом.*

Языческую "империальность" Ю. Кузнецов реализует и в более прозрачных метафорах:

*Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напоил лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.*

*Мы дорогу найдем по светилам,
Хоть светила сияют не нам.
Пропылим по забытым могилам,
Прогремим по священным камням...*

В 1979 году "светила просияли" в сторону Афганистана, на что Ю. Кузнецов отзывается программным стихотворением своего последнего сборника "Русский узел" ("Современник", Москва, 1983):

*Повернувшись на запад спиной,
К заходящему солнцу славянства,
Ты стоял на стене крепостной,
И гигантская тень пред тобой
Убегала в иные пространства.
Обнимая незримую высь,
Через щели и камни Востока
Пролегла твоя русская мысль.
Не жалея, что она одинока!*

*Свои слезы оставь на потом,
Ты сегодня поверил глубоко,
Что завяжутся русским узлом
Эти кручи и бездны Востока...*

Это стихотворение посвящено "В.К." – Вадиму Кожину, изображенному в роли стратега русского мира в канун рокового решения. Ю. Кузнецов не сомневается, что за ним последует победа, "рваное знамя" которого Тысячелетний Богатырь вынес еще с поля Куликова (стихотворение "Знамя с Куликова"). И по-

беда не только над внешним врагом. но и над внутренним, о котором Ю. Кузнецов в своей речи на IV съезде писателей РСФСР сказал, процитировав строфу стихотворения Н. Рубцова, адресованного России:

*Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.*

Что еще за "татары и монголы"? В. Кожин в статье "И назовет меня всяк сущий в ней язык... (Заметки о своеобразии русской литературы)"***** поясняет: "космополитическая армада", всемирное иго "международных спекулянтов". Освободить от него человечество (и самое себя) – историческая миссия России. И она ее исполнит (утверждает Ю. Кузнецов):

*В этом мире погибнет чужое,
но родное сожмется в кулак.*

Смысл афганской кампании для "новых мессианцев" – позитивен. Почему? Потому что эта локальная война способна вызвать цепную реакцию Зла, всеочищающий удар которого освободит Россию от зла наличного, быть может, и объективно меньшего, но субъективно – более нестерпимого. Такова, если можно так выразиться, эсхатология "нового мессианизма", которая – настаивает В. Кожин***** – выражает "подлинно и глубоко народное сознание" о том, что "зло карается не силой добра, но мощью в селенского (разрядка В. Кожина. – С.Ю.) зла", развязать которое призвана земля униженных, но бесшабашных богатырей...

*Мы топнем, перетопнем
С пятки на носок.
Мы хлопнем, перехлопнем
Запад о восток.*

А что думают по поводу этой поэзии "либералы" и "демократы", защитники пушкинских заветов свободы, милосердия и братства? Поэзия "нового мессианства", считает, например, критик Сергей Чупринин, "санкционирует... что?..

***** "Наш современник", 1981.

***** Вадим Кожин. "Отпущу свою душу на волю..." О поэтическом мире Юрия Кузнецова. "Литературная учеба", 1982.

миф?.. иллюзию?.. слепую разрушительную силу, весь смысл которой в том, и только в том, что она сила?..*****

И все же свой смысл у этой силы есть. Как и точка приложения:

*Мать-Вселенную поверну вверх дном,
А потом засну богатырским сном.*

Антивоенный белорусский писатель Алесь Адамович, чье творчество пронизано пафосом "толстовства", замечает по поводу "новых мессиянцев":

*Что ж, и киты выбрасываются на сушу по
непонятным нам причинам
и побуждениям...******

Сергей ЮРЬЕНЕН

***** Сергей Чупринин. "Вопросы литературы", 1983.

***** Алесь Адамович. "Наука и техника", Минск, 1982.

«СТРАНА НЕГОДЯЕВ»

В 1923 году Сергей Есенин написал довольно странную поэму под не менее странным названием "Страна негодяев".* При жизни автора эта поэма (или "драматическая поэма") так и не была издана полностью. Да и потом ее издавали в СССР считанные разы. Исследователи творчества Есенина обычно обходили ее молчанием. И это понятно — иначе пришлось бы во многом пересмотреть тот уже традиционный образ поэта, который давно сложился у читателя и критики.

Поэма "Страна негодяев" была за-

думана Есениным, очевидно, еще в годы гражданской войны и разрухи, а первые наброски относятся к самому началу 20-х годов. Это был наиболее кризисный период в жизни государства, когда власть большевиков висела на волоске. Доведенное до полной нищеты и разорения крестьянство бунтовало по деревням, голод косил целые губернии, Кронштадт, цитадель революции, был охвачен матросским восстанием. В стране свирепствовал красный террор. Именно к этому времени относятся строки из другой есенинской поэмы "Гуляй-поле", тоже полностью не опубликованной:

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула резко за предел
Нас отравившая свобода.

Люди, "отравленные свободой", истребили друг друга во имя "грядущего счастья человечества". Этими красивыми лозунгами был тогда обманут не один Есенин, воспринявший все происходящее с "крестьянским уклоном". Но и он, воспевавший приход нового Христа, скоро понял, что революция обманула его ожидания, что вместо Христа пришел Антихрист. Стихи Есенина эпохи 1918-20 годов и начала НЭПа отражают метания поэта в поисках правды и гармонии, его душевную опустошенность. Он видел, что "что-то всеми навек утрачено", и этого уже не вернешь. Но нигде расхождения Есенина с новой властью, с политикой правящей партии не выражены так четко и сильно, как в "Стране негодяев".

Больше года (в 1922-23 годах) Есенин провел за границей, объездив почти всю Европу и Северную Америку. Бесспорно, эти заграничные впечатления наложили отпечаток на его поэму. Он мог впервые взглянуть на свою страну, "коммунной вздыбленную Русь" как бы со стороны, глазами не то чтобы иностранца, но просто "свежего человека". Его мучительная тоска по родине, вообще свойственная русскому человеку на Западе, не помешала ему сразу же после приезда оценить все уродства нового быта. Хотя в СССР уже царил НЭП, и угрозы гибели от голода больше не было, но не было также и свободы, просуществовавшей так недолго в 1917 году: оставался лишь ее бледный призрак под видом частного предпринимательства. Длинные очереди безработных на бирже труда, рождение нового класса

"скоробогачей", спекуляция, поголовное пьянство деревни и города, небывалый рост преступности, бандитизм, кошмарные условия жизни в столицах (не говоря уж о провинции)... А ведь это было еще самое "веселое" время по сравнению с будущими.

Несколько раньше, в дни братоубийственных сражений, голода и безумия смерти, охватившего Россию, Есенин создал свое, быть может, самое страшное стихотворение "Кобыльи корабли", сравнимое разве что с натуралистическими, "разрушительными" композициями позднего Гойи или со стихами Бодлера. Здесь уже нет места лирике и мягким полутонам. Здесь все обнажено, будто бы выхвачено из тьмы лучом ужаса: и рваные животы кобыл, и облетающий под ржанье бурь "черепов златохвойный сад", и "весла отрубленных рук", которые гребут в "страну грядущего" (!), и собаки, сосущие "край зари голодным ртом", и "бешеное зарево трупов", и злой октябрь, осыпающий перстни "с коричневых рук берез" и т.п. Всего год назад Есениным были написаны (в 1918) славящие революцию "Инония", "Небесный барабанщик", "Пантократор" — и вдруг такая метаморфоза!.. Но поэт лишь отразил в своих стихах реальность происходящего со страной: на смену свету и пьянящей волны свобод шла волна террора. Солнечный, "златоструйный" март, весну революции, сменил "злой" октябрь, который "глохнет роши" (символика предельно ясная).

В поэме "Страна негодяев" уже нет такого беспощадного изображения, нет крика — там лишь пристальный взгляд острого и как бы чуть отстраненного наблюдателя, которому, однако, Россия не чужая страна, какой бы она ни была, а Родина. И еще — своеобразный юмор, часто переходящий в сатиру, в злую насмешку. Есенин как сатирик достигает в этой поэме, пожалуй, высот сатирика Маяковского (если даже не превосходит его). Тем интереснее нам взглянуть на него именно с этой, новой, точки зрения.

Главным героем "Страны негодяев" является некий бандит по фамилии — или кличке — Номах. Нетрудно увидеть в этой анаграмме скрытое имя Махно. Да и сам Есенин особенно не скрывал этого. Нестор Махно был для него не анархистом и бандитом (как это традиционно изображается в советской пропаганде), а прежде всего — народным

* Издана весной 1924 года.

вождем, "батькой", романтическим героем, борющимся за истинную свободу для всех. В образе Махно, каким его представляет поэт, много сходства с Пугачевым из другой есенинской "драматической поэмы", написанной двумя годами ранее. Хлопуша говорит о Пугачеве, что "пусть он даже не Петр — чернь его любит за буйство и удаль". А в "Стране негодяев" комиссар Чарин вынужден признать такую же популярность вожака повстанцев:

...Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?

Итак, сходство, родство Махно и Пугачева несомненно. Однако, если мы внимательно взглянем, то увидим и существенную разницу. Махно не просто атаман черни, люмпенов всякого рода — он идейный противник большевиков. Он выступает против однопартийной власти, против террора и реквизиций по деревням, против диктатуры пролетариата, наконец. Поэтому-то его любит крестьянство. Есенин ведь сам из крестьян, поэтому такой образ Махно, быть может, слегка идеализированный, ему был очень близок.

Конечно, полностью отождествлять есенинского героя с его реальным прототипом не следует. Номах — это в первую очередь герой лирический, это сам поэт, "каким он мог бы стать". Или даже просто, какой он есть некоей частью своей души, своего "я". Ведь все персонажи несут на себе отпечаток личности автора, в разной, конечно, степени. А у Есенина это усугублялось тем, что он никогда не ощущал себя "только поэтом". Вспомним хотя бы некоторые его стихи тех лет:

Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад
(1920)

Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист
(1923)

Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор...
(1922)

И так далее.

Разумеется, во многом это шло от литературной моды, от той роли, которую ему часто навязывали, и которая

временами ему нравилась... Все мы, в общем-то, играем разные роли, то скрытно, то напоказ. Но таких, как Есенин, который ничего не скрывал — было мало. Он просто не мог выражать себя иначе, чем с полной искренностью, подтверждая стихи своей жизнью и оправдав их потом своей кровью. Таким же предстает в поэме и его герой, отчаянный и мечтательный "бандит" Номах.

Для Номаха — и для Есенина — бандит, как и "хулиган" имеет некий особый смысл. Это человек, отвергнутый обществом или властью, с несправедливостью которой он не может смириться. Он выше человеческого "стада", которое "жиреет в паршивом тепле"... Номах говорит, что если бы Гамлет жил в нашу эпоху, "то был бы бандит и вор". И не вина, а беда всех этих "бандитов", что новая власть, использовав их порывы к свободе, свергла с их помощью гнет царизма, чтобы потом установить свой гнет, и задушить всякую свободу. В беспощадной борьбе, когда уничтожались целые классы, тысячи неповинных людей, Есенин сумел разглядеть и трагедию человека-одиночки.. За всех этих одиночек, бедных, обманутых и обиженных, и мстит Номах. Он понимает, что "ваше равенство — обман и ложь", и что

Этот мир идейных дел и слов
Для глупцов — хорошая приманка,
Подлецам — порядочный улов.

А сколько еще умных до сих пор не могут этого понять!.. Впрочем, все мы были обмануты. Ложь ведь всегда притягательнее правды.

Планируя грабеж эшелона с золотом, Номах не дорожит собой и не требует награды. "Все, что я возьму, я отдам другим". Он хочет "сделать для бедных праздник", который коммунисты отодвинули "на 1000 лет". А Номах, как и весь народ, сыт этими обещаниями по горло. "Я сделаю его сегодня", заявляет Номах, которому приятно "под небом голубым утешить бедного и вшивого собрата"... Что из того, что этот праздник будет недолог и опасен — может, хоть немногих он развеселит и согреет.

Характерно, что соратников Номаха он сам и автор тоже именуют не бандитами, а повстанцами. Но ведь "повстанец" — это все равно, что "партизан", восставший, защитник народа!.. Оказывается, что партизаны могут быть только "красными". Против кого же воюют

эти есенинские повстанцы? Да против нашей родной, "народной", советской власти... С трудом верится теперь, что эта поэма была издана в Советском Союзе. И еще более невероятным кажется изображение советских комиссаров, спорящих в "золотом" экспрессе №5. А впрочем, любопытно, что тогда, в эпоху гражданской войны, еще могли возникать разногласия на тему: "Тебя не смутил обман?" или "Подлость подчас не порок"... Лет 10-15 спустя от сомнений морального характера уже избавились. Но вот что говорит один из комиссаров после рассказа другого про мировую биржу и "мировое жулье" Америки:

...И у нас биржевая клоака
Расстилает свой едкий дым.
Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера

Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.

.....
Потому что мы очень строги,
А на строгость ту зол народ.
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падет скот.
Люди с голоду бросились в бегство,
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян
Их озлобили наши поборы,

.....
Потому им и любы бандиты,
Что всосали в себя их гнев.
Нужно прямо сказать, открыто,
Что республика наша — блеф...

Эта удивительная по смелости речь могла бы обойтись дорого и самому Есенину и его герою, будь она напечатана не в 20-х, а в 30-х годах (да и позднее). Впрочем, тогда бы ее не напечатали...

Есенин будто бы предвидел скорое мрачное будущее страны, и это-то предвидение окрашивает ироническими тонами картину, изображенную им. И если уж сами комиссары, "посланцы Ленина" так отзываются о своей республике, то как же должен "крыть" ее простой народ?.. Но вспомним, что другой комиссар, по фамилии Рассветов, при-

зная, что "вся Россия — пустое место", все же еще надеется на будущее — хоть и надеждам тут придан трагикомический оттенок:

Подождите!

Лишь только клизму
Мы поставим стальную стране,
Вот тогда и конец бандитизму,
Вот тогда и конец резне.

Наивный чудак Рассветов не подозревал тогда, какими будут результаты этой "стальной клизмы"... Не подозревал он, что на смену повстанческому бандитизму идет бандитизм государственный, и что по сравнению со сталинской резней все прошлые ужасы покажутся забавой. Увы, это был не конец, а только начало, конца же и до сих пор не видно...

Догадывался ли сам Есенин о том, что ждет страну, предчувствовал ли? Возможно. Многие поэты бывают наделены пророческим даром — начиная еще с Пушкина. Во благо это для них или во зло — другой вопрос... Если же так, то, пожалуй, единственным средством самозащиты была для него ирония.

По сути дела, в поэме смешны все — и комиссар Чекистов, бывший еврей Лейбман, "гражданин из Веймара", и "сочувствующий коммунистам" Замарашкин (одна фамилия чего стоит!..), и Рассветов с товарищами, и "советский сыщик" Литза-Хун, и весь остальной "персонал". Нелепы, смешны, трагикомичны, как и само время. Но ведь комедия зачастую оборачивается трагедией, кровавым и жутким фарсом. На этой тонкой грани между смехом и страхом автор балансирует постоянно. Особенно "ядовитым" получилось у него изображение всех так называемых "бывших" людей, собранных в приволжском притоне под тайным названием "Авдотья, подними подол".

Здесь бывшие дворяне, Щербатов и Платов, ныне вынужденные торговать из-под полы спиртом и кокаином, тоскуют о прошлой жизни вместе с кабатчицей Авдотьей Петровной, которая тоже когда-то была дворянкой и "училась в первой городской гимназии"... Сцена эта пародийно перкликается с хрестоматийной сценой в корчме из пушкинского "Годунова". Бывшими людьми, оторванными от своих корней, ощущают себя и повстанцы с Номахом. Только вместо веселых пьяных монахов у Пушкина — тут одурманенные наркотиками Щер-

батов и Платов, вместо Григория Отрепьева — Номах, обдумывающий мысль "о российском перевороте", а вместо царских стражников — переодетый китайцем сыщик из ЧК... Но и сам главный герой, Номах, кто он — не фантом ли, не призрак ли? Есенин глядит на него как бы с легкой улыбкой, понимая в душе, что его планы, хоть и смелые и вызывающие энтузиазм у соратников — так же несбыточны, как мечты Щербатова и Платова о прошлом. ("Кабы нам назад лет восемь, Старую Русь, старую жизнь..."). Кто из нас не мечтал об этом, и сколько раз эти слова не повторялись на все лады:

Пью за прекрасную
Прошедшую Русь

.....
Отцвело навсегда,
То, что было в стране благородно.
Золотые года!..

Ну и конечно, вальс на гитаре — "Все, что было, все, что мило" и так далее... Но если Щербатов, пьяно плачущий о погибшей России, для Есенина просто "обломок", ни на что больше не способный, то Номах — это человек иного склада. В нем чувствуется протест, он любит опасность и риск, "как поэт — часы вдохновенья". Будучи своего рода мечтателем, когда-то "верившим и горевшим" революцией, он теперь довольно опасен для тех, кто подмял под себя революцию, и Есенин ясно дает нам это понять:

Я не целью играть в короля,
И в правители тоже не лезу.
Но мне хочется погулять
И под порохом, и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют как янки (!)
Мы посмотрим их храбрость и смех,
Когда двинутся наши танки.

Тут, кажется, уже не до смеха. Что же это такое, помилуйте?... Кого он имеет в виду под "жиреющими на Марксе"? Да ведь это верные соратники Ленина, пламенные марксисты, любимые вожди: Троцкий, Зиновьев, Бухарин и вся остальная компания... Да и Ленин был тогда еще жив. Ай-яй-яй, вот тебе и Есенин, вот тебе и "мать моя родина, я — большевик"!.. Да ведь такие строки — это типичное диссидентство и "самиздат". И куда же ЧК смотрела? А ведь он, подлец, и ЧК высмеял, в образе китай-

ца Литза-Хуна, которого дважды провел неуловимый Номах...

Роль китайца, продающего опиум, лучше которого якобы "ниет в Америке, ниет в Европе", написана почти с фольклорным совершенством.

...Куришь, колица виюца,
А хто пыривык,
Зыбыл ливарюца,
Зыбыл большевик...

Стихи эти гениальны сами по себе (не подслушал ли их Есенин в настоящей опиекурильне?), но блестящую остроту и язвительность придает им то, что исполняет их чекист, переодетый китайцем! И ему, наверно, хотелось бы хоть ненадолго "забыть революцию" со всеми ее прелестями, как бывшим дворянам... Но нет утешения ни в чем, все обман на этом свете: и революция, и лозунги, и опиум, и кокаин, и сам китаец оказывается "жуликом и шарлатаном". Кому верить, куда идти? Кругом жулики сверху донизу, "подлец на подлече и на трусе трус"... Неудивительно, что и бандиты на этом фоне выглядят светлыми фигурами. Америка ли подлинная страна негодяев, как хотелось бы советским комментаторам Есенина?.. Или страной негодяев стала бывшая "прекрасная Русь", та самая "страна березового ситца", превратившаяся в "край осиротелый"? Но пути назад для нее уже не было, и Есенин понял это, быть может, раньше других.

Что же ему оставалось после крушения революционных надежд? Он мог выбирать одно из двух: или уйти в эмиграцию, или "спуститься в корабельный грюм", то есть в кабаки, чтобы "себя сгубить в угаре пьяном". Первый путь был для Есенина неприемлем — он выбрал второй.

Точнее, не выбрал, а просто пошел по нему...

Поэма "Страна негодяев" была Есениным не окончена полностью, как и поэма "Гуляй-поле", также посвященная Махно (до нас дошли только отрывки, опубликованные в СССР под общим названием "Ленин"... (Да собственно, поставить последнюю точку могла только сама жизнь. А для себя он поставил эту точку той декабрьской ночью в гостинице "Англетер", навек удалившись в другую страну, "где тишь и благодать", где ждали его тени других "ушедших и великих").

Владимир ГОЛИЦЫН

«РОМАН-
ПОКОЙНИЧЕК»
АНРИ
ВОЛОХОНСКОГО

Волохонский — диковинный, безжалостно сложный, совершенно недоступный широкому читателю (т.е. инженерно-техническим работникам, девицам разной степени невинности, а также целому ряду серьезных и целеустремленных людей), начисто лишенный того, что принято называть задушевностью, опасный, что бритва, зловеще-веселенький, благородный, ониковый поэт — сочиняет в прозе практически ничем не хуже, но, быть может, чуть побеспомощней. Думаю, это потому, что «роман, — как объяснял Пушкин Бестужеву-Марлинскому, — роман требует болтовни; выбалтывай все начисто». Волохонский, безо всякого сомнения, знаком с этим правилом, однако для него — выбалтывание всего начисто — процесс болезненный и психологически едва ли не запретный. Все, — а не начисто. А если начисто — тогда не все... Отсюда — нарочитая тщательность, подробность шажков по канату, и зритель, хошь-не-хошь, но успевает сообразить, что зонтик в руке канатоходца не столько от дождя, сколько для равновесия.

Претензии такого рода, разумеется, ничего не стоят: слишком они ощущенческие, несобираемые в щепоть. Но без них — и начинаться не стоило.

Итак, роман, да еще и роман российский: с историей, социологией, «кредо», разговорчиками в строю (похоронном), случаями из жизни, антигосударственными выпадами и — допросом. Все, что положено. А если кто-то мне скажет, что ничего я не понял, что Волохонский, дескать, имел в виду наоборот, то я не стану спорить, а открою роман на девятнадцатой, для начала, странице — и скажу:

«Группа московских школьников совсем не так давно сочинила продол-

жение романа о настоящем человеке. Как он снова был сбит над зимним лесом. Но тут ему отмораживать было нечего, и летчик обратился к протезам. Получились отличные лыжи. Герой прошел на них сто дней и благополучно вернулся в распоряжение своей части.»

И далее — перейду на страницу сорок первую:

«Получилось, что целая власть ведет себя, как один неврастеник, непрерывно себя ощупывающий, почесывающийся, виновато поглядывающий, трусливый и нехороший. Чтобы успокоить нечистую совесть, он пытается что-то напевать, но в песнях-то более всего и пролетает. (...)

Из открытых окон школы
Слышны крики октябрят.

Опять упущение. Окна надо всегда закрывать как можно плотнее. Тогда никто никаких криков не услышит, — а то что это такое, и что скажут иностранные корреспонденты».

Я далек от стремления выдать роман Волохонского за этакий юмористический «антисоветский трактат», но лишь пытаюсь по мере сил — осторожно и неназойливо — подтолкнуть книгу к читателю, ибо (по множеству обстоятельств) прочитана она недостаточно. Естественно, мы не привыкли к Волохонскому-прозаику, но его суховато «причтокивающая» петербургская саркастика переслоенная горчайшим пафосом, — аж до публицистики! — стоит вникания и любви.

Судите сами.

«Я шел, оставляя позади кинотеатры Титан, Гигант, Великан, Колизей и Колосс (...), мимо десятиэтажного бюро пропусков, где невинно выдавали пропуска на разные этажи, мимо прочих наименований, названий, кличек и прозвищ (...) мимо начертанных на верху домов электрическими, деревянными и парусиновыми буквами неверных клятв и несбывшихся пророчеств, мимо досок с портретами лжесвидетелей, мимо изнемогающей от жары толпы, (...) и спустившись наконец, по правому рогу радуги, оказался как раз там, где было предписано, согласно адресу, обозначенному в повестке...»

И здесь пора сказать, что похороны некоего Романа Владимировича Рыжова — усредненного номенклатурного упыря, несомого во главе процессии (что и стало «сюжетом» романа Волохонского) — это

никакой не «символ похорон жанра», а уж скорее — идет от гробов о к р а ш е н н ы х, «которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». (От Матфея, 23, 27). Вот как великолепно разукрашен гроб Романа Владимировича: «Сперва несли два хлебных пука, свернутых, как рога, и к ним по семь диадем на каждый рог с именами народов на каждой повязке (...). Потом шел один со звездой, с большой пентаграммой (...). Ретиарий-пролетарий с сетью, которую образуют пересекающиеся меридианы и параллели, а вместо трезубца — с молотом, которым он словно бы собирается оглушить женоподобного колхозника-мирмиллона, вооруженным коротким, мощным, как ятаган, серпом и щитом, покрытым с гомерическим реализмом выколоченными царствами восточного полушария. Все эти символы соединились на подушечке... Земля оказывалась промежду рогов, перевитых диадемами, вся охваченная измерительной сетью и припечатанная обольщающим символом рабочего класса с крестьянством, звезда повисала повыше, меж самых окончаний рогообразных хлебов над восточным полушарием, солнце же располагалось прямо над землей, упершись лучами в пустой ледяной материк».

Знают все советский герб... Стоит разве что добавить: жуткая эта геральдика непосредственно выработана из Апокалипсиса — перед нами печать Сатаны и признаки красного зверя-антихриста.

Все мои попытки приискать роману Волохонского родственников и/или предшественников — не удалась. Могу предложить покамест лишь Вагинова и язвительного Ивлива Во, знакомого нам по простительному недосмотру советского начальства. Литературный сладострастник с наслаждением отметит у Волохонского изящную перебранку с «Даром» Набокова, — впрочем, возможно, не внаглую с «Даром», а с теми слабохарактерными литераторами, кто, заправив в тугие джинсы: полы гоголевской шинели, пытаются теперь натянуть поверх еще и набоковский ш о л к о в ы й д ж а м п е р. Но это уже в рецензию не вмещается.

Рад, что есть у нас и эта книга.

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

Анри Волохонский. Роман-покойничек. Изд-во «Гнозис», 1982.

А. Ветлугин

ЗАПИСКИ МЕРЗАВЦА

МОМЕНТЫ
ЖИЗНИ
ЮРИЯ БЫСТРИЦКОГО

Сергею Есенину и Александру Кусикову

19

ДРЕВО ЖИЗНИ

... ВИДНО В ГОРОДЕ НАШЕМ В САМОМ ВОЗДУХЕ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ МИКРОБЫ КОММЕРЧЕСКИЕ. ОТЕЦ МОЙ – ВРАЧ, МАТЬ – ДЕВИЦА БЛАГОРОДНОГО ЗВАНИЯ; О НЕЙ В ДОМОВОЙ КНИГЕ ЗАПИСАНО: "ДВОРЯНКА, ЗАНИМАЕТСЯ ДОМАШНИМ ХОЗЯЙСТВОМ". ВО ВСЕМ РОДУ НАШЕМ КУПЦОВ НЕ БЫЛО. И ТОЛЬКО Я ОДИН ПОПАЛ ВО ВЛАСТЬ ИСКУСАМ ТОРГОВЛИ.

В пятом классе я был, когда меня из гимназии выгнали "за превращение учителей в лошадей"... Никого я в лошадей не превращал, дело совсем простое. Время весеннее, степь от пьяного базара в многоцветном уборе, в классах скучища, вонища, сонная одурь. Учусь я отлично, схватываю налету, а вот сидеть и слушать, как товарищей тупоголовых в сотый раз о сумме углов в треугольнике расспрашивают... Нет, уж покорно благодарю. Задумал я организовать тотализатор, точь в точь, как на нашем донском ипподроме, где уже с десяти лет каждое воскресенье бывал. Лошадей в гимназии нет, но в аудиенц-залу выходят шесть дверей шести классов... Значит, после второго звонка через залу шесть учителей шествуют. Кто первым в залу по лестнице подымет – тот и выиграл. Ставка – гривенник. Десять процентов удерживаются в пользу содержателей – то есть в пользу мою и товарища моего по парте Никогоса Вартапова – парня к наукам неспособного, но со смекалкой быстрой и безошибочной.

Первые две недели предприятие мое процветало. Ежедневно к обеду у меня и Вартапова оказывалось в кармане по хрустящей пятерке. Ежедневно вечером, обвязав светлые гимназические пуговицы темными лоскутами и сорвав герб с фуражки, отправлялись мы в биллиардную "Самсун", выпивали по бутылке кахетинского, пожирали по несколько порций шашлыка, а потом до полуночи мелили кии, шелкали шарами и в виду общего к нам уважения допускались к участию в знаменитейшей игре "батифон". На столе два шара. Полагается своим шаром загнать в лузу шар противника. Играют двое, остальные мажут. Подслеповатый тапер запузывает "Вальс над волнами", "Кэк-Уок", "Черные гусары", биллиардная плывет в сизом дыме Асмоловских папирос, багровые казахи офицеры без кителей, расстегнув пояса шаровар, засучив ру-

кава, цокают шарами, а мы с Никогосом млеем от радости в густой толпе мазильщиков... Тут и старый отцовский пациент, помощник городского бухгалтера – Иван Степанович Мазиров, о котором отец каждой весной за обедом осведомляет мать: "Сегодня опять Мазиров приходил. Снова захворал"... Тут и непримиримые враги нашей классической гимназии – обладатели желтых кантов, реалисты, тут и лицо с гигантским носом, неповторимым по количеству бородавок, Христофор Христофорович Дастарханов, пионер шантанного дела на Юге России, нередко промелькнет и лисичья мордочка "внеклассного надзора", и тогда мы с Никогосом немедленно без курток устремляемся на двор и стоим в холодном ретире до тех пор, пока "Кацо Артем" не постучит в дверь:

– Послушай, твой сволочь смылся, очень интересный игра идет... Дастархан вторую Катьку разменял. Хозяин очень боится, не фальшивый ли...

Снова закуриваем "Дюбек-лимонный" и снова с замиранием сердечным следим за исходом игры. Исход для нас почти всегда плачевен. К первому часу ночи в кармане пустое портмоне и можно идти домой. Жалко немного, что играли мы неправильно. Ставить бы на коротконового есаула, а мы соблазнились могучими белыми бицепсами веселого сотника...

Ну, ничего, завтра с утра интересная "записка": в шестом классе письменный по алгебре, а в третьем русская диктовка. Словесник и математик оба еще до звонка в классы отправятся, чтоб тетради раздать. Игра будет сильная. Кто из двух раньше в зале появится?

... Дома еще не спят. Мать заказывает Агафье обед на завтра, отец только что вернулся с визитов, сидит в халате, отрывистыми глотками пьет крепкий холодный чай и вдумчиво раскладывает на столе редкие пятерки, засаленные трешки, порванные рублевки, кучку серебра – дневной урожай, снятый с нивы страждущего человечества. При моем появлении он, не подымая головы, лениво спрашивает:

– Шатаешься все? В каком кабаке был?

– Ничего не в кабаке. Просто сидели с товарищем, готовились к завтрашнему письменному...

– Ну, смотри, смотри, как бы за эти подготовки ты из гимназии не вылетел...

Быстро раздеваюсь, ложусь в постель, зажигаю свечу и начинаю готовить уроки. История? Успею прочесть на перемене. Две задачи по алгебре? Спишу у Власова. Русский? Выучить наизусть воспитание Онегина. Это и учить нечего, с восьми

лет знаю. Закон Божий? Батюшка завтра обещал не спрашивать, а продолжать спор о бессмертии души... Остается латынь. Облокотясь о тумбочку, выписываю десяток слов, в секунду пробегаю подстрочник и тушу свечу...

Мы вышли с Никогосом из "Самсуна". На улице тьма и пустота. За пол-квартала от нас мигает одинокий фонарь и Никогос говорит мне: "Смотри, Юра, там какой-то человек стоит"... Мне страшно, я хочу убежать, но, сделав несколько шагов, мы узнаем Дастарханова. Христофор Христофорович стоит у фонаря, нос его освещен во всей красе. Не то Дастарханов пьян, не то от усталости шатается. Мы почтительно снимаем шапки, он смотрит на нас и говорит: "Хотите, мальчики, посмотреть моих звездочек"?... Мы шли, шли. Вышли за город, миновали бойни. "Господи, — думаю я, — вот-то дома мне скандал устроят, когда я на рассвете вернусь"... А Дастарханов все идет и все молчит. У маленького деревянного домишки он останавливается, грозно прикладывает палец к губам и отворяет калитку.

Мы крадемся за Дастархановым по винтовой лестнице. Вот так штука, дом одноэтажный, а в лестнице тридцать ступеней. Еще одна дверь и мы попадаем в большую комнату, завешанную коврами. У камина на креслах сидят какие-то тени. Дастарханов зажигает электрическую люстру и кричит: "Гимназистки пришли. Девочки, займитесь"... С кресла, что подальше, вскакивает высокая резвая женщина в пеньюаре. Без долгих разговоров она хватает меня за руку и сажает вместе с собой на одно кресло. Я смущаюсь, она звонко хохочет и начинает меня целовать. От нее идет сладкий, волнующий запах. Она притиснула меня лицом к своему голому плечу. И от запаха духов, от запаха женского тела у меня кружится голова. Я впиваюсь в это белое покатоое плечо и жадно его кусаю, кусаю, кусаю...

Освещение становится все сильней и сильней, оно режет глаза, оно греет затылок... Апрельское солнце снопами прорезает ситцевую гардину. Я протираю глаза, сбрасываю одеяло и вижу искусанную мокрую подушку. Столовая кукушка выкрикивает восемь.

— Эй, кронпринц, вставай! — кричит отец, проходя мимо моей двери...

Я мигом вспоминаю о предстоящих сегодня крупных оборотах тотализатора, ополаскиваю лицо, хватаю книгоноску и мчусь в гимназию. Никогос уже на посту — в крошечной гардеробной, где сторожа сохраняют швабры, мел, чернила, он восседает на подоконнике и продает билеты. К нему не протолпишься. Состязание словесника и математика, двух испытанных фаворитов, взволновало всю гимназию. Не только из наших верхних классов, но и со второго, и с первого этажа явились мазильщики. Дрожащие первоклассники пожертвовали завтраком и предпочли полученный на котлету гривенник истратить на билет нашего тототшки. Великовозрастный семиклассник Канделаки, про которого вся гимназия почтительно шепчет, что он живет с кассиршей "Театра-Миниатюр", купил сразу двадцать билетов.

У входа в гардеробную очередь, курносый надзиратель верхнего зала ничего понять не может.

Чего вы господа, хотите от Вартапова и Быстрицкого? — спрашивает он толпу.

"Господа" молчат. Тогда надзиратель решительно направляется в гардеробную. "Верные люди" устраивают у две-

рей свалку (номер разработанный и подготовленный заранее); пока надзиратель разнимает борцов, деньги спрятаны в карман, билеты в "Алгебру" Киселева, а гости из нижних двух этажей бегом спасаются по черной лестнице. В гардеробной взорам надзирателя представляется мирная картина. Обнявшись и наступая друг другу на ноги, толпа гимназистов повторяет уроки — кто долбит: "Gallia est omnis divisa in partes tres", кто чертит на стене Пифагоровы штаны, кто со рвением декламирует воспитание Онегина... Курносый человек подозрительно оглядывается и нюхает воздух: нет, табаком не пахнет... Что за притча? "Вы бы, господа, в зале лучше сидели, чем за швабры прятаться"... Через минуту продажа возобновляется — и до звонка мы с Никогосом заработали не то по два, не то по два с половиной "процентных" отчислений. Никогда еще за обе недели существования тотализатора наши дела не принимали такого блестящего оборота. Я даю себе слово прекратить ходить в бильярдную и... два с половиной в урок, в среднем десять рублей за день, триста за месяц, до каникул еще два месяца... Уйду в Швейцарию и пройду ее вдоль и поперек, с мешком за плечами, в серых высоких гетрах, в коротких полосатых штанах, с огромным альпенштоком, точь в точь как на Н... проспекте О-ва Интерлакенских дачевладельцев... У Никогоса глаза подернулись поволокой и губы влажны: я знаю его мечты. Купить жеребца и на погибель всем реалистам и гимназистам скакать пред балконом Неллечки Волховитовой.

Дребезжит первый звонок и, будто потолок обрушился, топот сотен ног раздается в зале. Гул несметных голосов, в котором тонет визгливый дискант курносого Ивана Иваныча. В нашем классе, находящемся на самом краю аудиенц-зала, в свою очередь начинается волнение. Парта за партией, клиенты тотализатора выскакивают в зал... Предчувствуется нечто ужасное. Спешим и мы с Никогосом. Олимпийские боги!

Все шесть классов в зале. Галдеж неслыханный.

— Неправильно, не считается, Петр Семенович еще до первого звонка пришел. Выиграл Александр Михайлович... Жулничество, бей Быстрицкого...

Посредине толпы недоумевающий словесник Александр Михайлович и багровый усач, математик Петр Семенович.

Оба возмущены:

— Что за бунт? Что считается, что не считается? Почему все в зале? — орет математик.

И из толпы какой-то предатель злобно визжит:

— Спросите Быстрицкого и Вартапова, они все объяснят...

В этот момент, задыхаясь, потеряв очки, в развевающемся сюртуке — влетает директор. Сердце у меня останавливается, я слышу голос Немезиды...

Вся гимназия была "задержана" до сумерок. Расследование продолжалось шесть часов. И когда единогласные показания наших передрефивших клиентов с полной непрерываемостью установили зловещую истину — импровизированный педагогический совет постановил: "Учеников пятого основного класса Никогоса Вартапова и Юрия Быстрицкого за возмутительное поведение и развращение товарищей из гимназии исключить, первого навсегда, второго, во внимание к блестящим его успехам, до конца учебного года"...

Мать в продолжение часа багровела пятнами и пыталась плакать, но заботы по хозяйству и новое повышение базарных цен спасли ее душевное равновесие. Отец отнесся к моему изгнанию из гимназии с полным спокойствием вольнопрактикующего врача.

— Что ж, брат, — вздохнул он за вечерним подсчитыванием добычи — дело твое собственное. В пятнадцать лет сечь поздно. Не хочешь кончать гимназию, предпочитаешь босячить? Только знай одно: на меня не надейся. Еще два года покормлю тебя и потом сам изыскивай средства существования. Нынче голоштанная братия экзами пробавляется, может и ты на революционном поприще преуспеешь...

Всю весну и все лето я наслаждался неслыханной свободой. Не надо рано вставать, не надо просиживать по пяти часов на парте, не надо в жару таскать толстенную книгоноску. Плохо одно: нет денег на посещение биллиардной. Но и тут не растерялся. Пошел к букинисту и продал все, сколько было у меня учебников. За учебниками последовал энциклопедический словарь, обрывавшийся в нашем доме на слове "роза", потому что после пятидесят второго тома отец категорически отказался уплачивать ежемесячные взносы фирме "Брокгауз-Ефрон". Потом наступила очередь "Земли и Человечества" в переплетах, тисненых золотом. Потом — в сырую темноту книжной лавчонки нырнули Пушкин и Достоевский, Мопассан и Шпильгаген, Луи Буссенар. Этим исчерпались запасы нашей библиотеки, а так как сотник продолжал проигрывать есаулу и так как появились у меня новые чрезвычайные расходы, то после двух дней нервной головолочки я вспомнил о пустых бутылках, праздно прозябавших в погребе.

Старый знакомец, сиделец монопошки, согласился принимать каждую пивную бутылку по две копейки, каждую винную по три. В сумерках брал я свою книгоноску, торжественно объявлял, что иду готовиться к осенним экзаменам, спускался в погреб, набирал, сколько могло влезть бутылок... и через час, с несколькими двугривенными в кармане, садился на конку и ехал в армянский пригород, где проживал Никогос Вартапов.

Этим летом началась моя юность. Этим летом с Никогосом Вартаповым мы зачастили на Ваточную улицу, где горели красные фонари, ржали рысаки и из открытых окон доносились звуки неизбежного вальса "Над волнами".

В августе началась полоса эксов; налет на казначейство, налет на Взаимный Кредит, налет на мельницу братьев Никаноровых и т.д. По утрам богатые горожане получали угрожающие письма и улицы зеленели закрытыми ставнями, сквозь которые иногда можно было увидеть еще более зеленые лица. По ночам раздавались тревожные свистки. Сторожа, пугаясь звука собственного голоса, оторопев, кричали "слушай" и неистово стучали колотушками по заборам. С окраин в беззвездную жаркую ночь резко доносился топот казачьих копыт. Отец возвращался домой злой и бледный. Богачи убежали из города и в рядах его пациентов осталась одна шантрапа.

— Д-да — стискивал он зубы, — хорошенькая заваривается каша. Кронпринцу лафа, не видать что-то, чтоб к осени возобновились занятия...

В конце августа, в одиннадцать часов ночи мы с Никогосом отправились в наш постоянный полтиничный дом. Разошлись по комнатам, заказали Калининского пива. Но пива пить не пришлось. В коридоре зазвенели шпоры, забарабанили во все двери, и началась комедия.

— Ваш паспорт, молодой юноша, — пробасил усатый пристав. Я сконфуженно направляюсь к креслу и достаю из кармана тужурки гимназический билет.

— Так-с, так-с, очень замечательно. Питомец классической гимназии, сын врача и все пр. в подобающем месте. Городовой, проводи юношу Быстрицкого домой и попроси роди-

телей поутру явиться за его билетом во вторую часть... Заодно протелефонируй и директору классической гимназии.

С помощью городского я натягиваю куртку, забираю злощастную книгоноску и в сопровождении звона шпор выползаю в коридор. При выходе, на деревянной площадке, под самым красным фонарем, стоит Никогос. Городовой держит его за рукав, но мой славный компаньон невозмутим.

Он успеваешь хлопнуть меня по плечу и кричит мне вслед.

— Э, слушай, не робэй. Приезжай завтра на ссыпку. Будут две девочки, выпьем, паховарим...

Мы идем по немощеной улице. Городовой, придерживая шашку, лихо перепрыгивает через лужи, а мне все равно. Я шагаю, не глядя, не думая о грязи. Последние остатки мужества покинули меня. Я чувствую, что предстоит катастрофа, что ее не избежать, как не избежать той новой страшной жизни, которая начнется для меня раньше, чем солнце вылезет из оврага и высушит улицу нищенского разврата. Прощай Никогос! Прощай нерадостное детство!

Городовой бубнит у меня над ухом. О том, что нынче служба тяжка стала. Об эксах неустрашимых, распоровших намедни брюхо старшему помощнику. О том, что видать — антихрист идет. И еще о многом. А я все прощаюсь, прощаюсь с каждым стародавним знакомым. Площадка пред Новым Собором. Сюда я ходил с покойной Феклой и она мне кричала:

— Юрчик, не залезай, дорогой, на клумбы. Сторож серчать будет... Паперть собора. Здесь, бывало, по утрам продавали изумительные бублики с маком, медовые коврижки, кислосладкий пеклеванный хлеб. Коммерческий клуб. Здесь, в полдень, в часы репетиций оркестра, забирались мы гурьбой под парусиновый навес и передразнивали свирепого флейтиста. Вот наконец и базар. Прощай, прощай, единственная отрада и детства и отрочества. Кстати, Саши давно уже не видно. Не помер ли от холеры, чересчур уж обжирался зелеными огурцами. Еще полсотни шагов и я дома. В горле у меня слезы. Я кусаю губы, сжимаю кулаки и неожиданная, свирепая, неукротимая злоба горячей струей приливает к сердцу, стучит в висках, шепчет:

— Мсти за все!

Кому мстить? За что мстить? Им, им, отцу за презрительность, матери за глупость...

И новые предчувствия не обманули. Был скандал с отцом и матерью, скандал планетарных размеров, с боем посуды, с истерикой, угрозами, поднятием кулаков. Был скандал в гимназии. Этот полегче, в два счета собрался педагогический совет и гимназист Юрий Быстрицкий больше не значился в списках классической гимназии...

Короткая августовская ночь, уже яснее контуры дворовых строений, уже Булька вылезла из конуры и лает, не открывая глаз. Уже Тимофей что-то скребет и кого-то монотонно бранит. Я сижу на кровати, в куртке, в шапке, оцепенелый, злой, растерянный. Книгоноска липнет во вспотевшей руке, но нет сил бросить ее на стол. Все равно, все равно, тем хуже для них. Жизнь окончилась. Отравлюсь карболовой кислотой, понесут меня на кладбище. Гимназический батюшка, вздохнув, облачится в торжественную мантию и станет вспоминать наши споры о бессмертии души. Никогос Вартапов подъедет на рысачке и возложит венок из пахучих клубероз. Кухарка Агафья придет пьяная к матери и скажет:

"Замучили вы, барыня, паньгче"...

Паиенты отцовские исполнятся презрением к мучителю

и позовут другого врача. В городе поползут слухи, зашепчутся, закудахчут, пальцами укажут на наш дом... О, они почувствуют, они надолго запомнят!..

Столовая кукушка выкрикивает семь. Отец, шаркая туфлями, идет по коридору...

Ну, а потом? Что будет через два-три месяца после моей смерти? Кто меня вспомнит и кто забудет? Очень обидно, что жизнь будет такая же, какая была и при мне. В "Самсуне" щелкают киями, мажут на сотника и есаула. Христофор Христофорович вместо соломенной шляпы одел котелок, базар завален капустой и башмалой... Да, обидно. Нет, к черту карболовую кислоту. Надо жить, чтобы мстить своим врагам. Вот так, как сделал Монте-Кристо — приехал во Францию и со всеми расправился.. Отец хочет меня отправить в Новороссийск, в тамошнюю гимназию? Отлично, я поступлю на американский пароход, уеду в Аргентину или в Австралию, заработаю много денег, изменю наружность, вернусь в наш город и поселюсь в Большой Московской Гостинице... Неужели это сын доктора Быстрицкого? Ах, какой богач, вот счастливый. Отец придет мириться:

— Юрий, прости и помоги!

Я отвечаю:

— Помочь пожалуйста, но простить не могу. Возьми этот бумажник, в нем сто тысяч рублей, но уходи. Я не могу тебя видеть...

Он робко возьмет бумажник и скажет:

— А матерью ты тоже не интересуешься?

— Нисколько, иди, иди!

Поезд 2 К мчится из Москвы. Поезд 2 К за тридцать шесть часов перевозит своих пассажиров — толстого купца, субтильную кокетку, очкатого чиновника, бравого гвардейца — из сердца России в житницу России. От расплавленных московских асфальтов — в цветущую русскую Ривьеру. В нашем городишке 2 К останавливается лишь на миг. Не успели еще втиснуть меня в вагон, не успел Тимофей в окно швырнуть мой драный чемодан, как багровый обер засуетился, прогоняя провожающих. Засвистели, загудели... Мы уже едем. Мимо красной шапки дежурного, мимо одеревеневшего лица отца и слезливых глаз матери.

Здравствуй, новая жизнь, гимназист Быстрицкий меняет место жительства, отправляется в Новороссийск — жить у своего двоюродного дяди, крупного хлебного экспортера, учиться в Новороссийской гимназии, последнем прибежище изгнанных гимназистов, реалистов, коммерсантов.

О, милая Владикавказская дорога! Сколько земель исколесил я за последние годы. Сколько разных морей лазурными полосками отражалось в зеркальных окнах моего вагона. Но, ты моя первая любовь, мое верное спасение от хандры, отчаяния, мыслей самоубийственных. Батайск, Куцевка, Тихорецкая. Степь купается в закатном кубанском солнце. На стогах свежескошенного сена резвятся огромные овчарки. Босоногие казачата хором, по команде завывают: "газет, газет, газет" степенные их отцы чешут бритые затылки и пристальным обожженным взглядом провожают вихрь синих вагонов. Сонные телеграфисты в цветных косоворотках сгорбились над аппаратом Морзе и безостановочно, бесстрастно выстукивают песнь русской судьбы. На станции давка мохнатых бурок, тщетно пытающихся проникнуть в привилегированный поезд.

— Куда прешь?! Не видишь, плацкартный...

И 2 К уже гремит под черноморским туннелем, наполея сердца радостным предчувствием близкого моря. Еще верста, еще поворот, выйдешь на площадку, отдышишься от вагонного смрада — слева за кручей заласкает взор спокойная громада Черного моря. Нет сил у огненного шара разом нырнуть и кармином окрасить фиолетовые волны. На всех парах уходит серый профиль миноносца, вырастают очертания Новороссийского элеватора, возникает загроможденный порт, зеленеют купы вокзальной рощи... В стеклянном павильоне меж чемоданов, детей, ручной клади восседают моряки в белоснежных кителях, и жир котлет растворяется в обильных фужерах густокрасного джанхотского лафита...

Таким увидел я тебя в первый раз, мирный город Новороссийск. О таком я мечтал в другие годы на расплавленном Севере. Таким не суждено мне сохранить в памяти город стозевной подлости, кладбище русских репутаций, гибнущий Новороссийск девятьсот двадцатого.

И как мы над трупом ребенка рыдаем,
Как муке сказать не умеем — усни!
Так в скорбную мы красоту превращаем
Минувшие дни...

▼

ПЕРВЫЙ НОРД-ОСТ

Славный человек — новороссийский дядя. От зари до зари возится на берегу, в конторе, в таможене, в банках. Коротконогий, лысый, от живота к груди шире, чем от плеча к плечу, с лицом и голосом скопца — катится он каким-то неутомным шаром.

— Петр, на Серебряковскую в банк!

Петр погоняет каурую кобылу, хлещет ее кнутом, цокает языком, а дяде все мало.

— Губишь ты меня, Петр, чтобы тебе не увидеть родителей. В банк опоздаю, по миру пойду...

— Николай Степанович, шибче никак невозможно. Чтож, ей кобыле гвоздь в за... загнать, евоная сила не автомобильная.

— Я тебе самому в за... гвоздь загоню, тогда поедешь...

И дядя не выдерживает, вскакивает на подножку, держится за ремень и через плечо Петра парусиновым зонтиком лупасит многотрадную кобылу.

В банке орет на бухгалтера:

— Расскажите мамаше вашей, а мне чтоб таких учетов не было.

На берегу распатронит греков-продавцов зерна:

— Пиндосы окаянные, опять в мешки г... понапхали, ох уж доберусь я до ваших слабых частей. Возьму я вас за ... — как это называется...

Солнце жжет, элеватор гудит, английские матросы далеко к самому концу мола заплыли и кричат своим товарищам: "come an, come an", на бережку раскинулись заплывшими боками местные дамы.

Не очень фигуристы новороссийские дамы. У той, что и после седьмых родов "Мусей" называют, здесь как у воронежского битюга, а Тата — юная дамочка — когда в воду с мостика

кидается, лодки шарахаются и черпают бортом. Одних грудей пуда полтора.

Ох, и размаривает на берегу. Дядя лезет в карман, вытаскивает засморканный гигантский платок, вытирает лоб и струями из платка пот выжимает. От греков, от банка, от каурой кобылы, от созерцания Мусиного зада и Татиных грудей, пуще всего от тарыхтеня элеваторного тянет не то на крошку, не то на чай с лимоном. Снова в четыре руки хлещут они с Петром каурюю кобылу. С грохотом растворяется наша парадная дверь и через все комнаты дискантом пронзительным визжит дядя:

— Жоржетка, быть или не быть, крошка в столовой или чай с лимоном в саду...

С дядей я быстро подружился. Дядю я начинаю по-настоящему любить. Суегливый, ругатель, богохульник, но душу мою сразу раскусил. В первую же минуту на вокзале Новороссийском шепнул мне на ухо:

— Не грусти, парнишка, на то и ба..., чтобы из-за них гимназистов из гимназии вышибали...

Правда, сейчас же сделал страшное лицо, выкатил глаза, поднял кулаки и завопил:

— Только уговор, меня слушаться, как Саваофа. Я и Кузькину мать в случае чего заморить могу.

В гимназии, по случаю забастовок и тревожного времени, занятия не налаживаются. Пока что я присматриваюсь к городу, знакомлюсь с будущими товарищами, захоживаю в дядину контору, где от матерной брани топор в воздухе висит...

Живем мы на бульваре, в просторном двухэтажном особняке с садом, с огородом, со стоячим прудом. Окна зала выходят на море, и когда по вечерам зацветает бухта освещенными мачтами, когда по бульвару с гиканьем, свистом, песнями повалит международная матросня, начинается и у нас веселье. Ровно в девять часов появляется первый посетитель, Дмитрий Иванович Констанаки, родом из Афин, но о Греции и слышать не хочет.

— Я человек русский, зарабатываю русские деньги, живем с русскими девочками.

Констанаки ровесник дяди, тоже перевалил за пятьдесят, однако на вид ему и сорока не дашь. Усы и шевелюру красит до черноты вороньего крыла, ослепительное шелковое белье, яркие галстуки, желтые ботинки, светло-серый костюм, трость черного дерева со слоновым набалдашником, благоуханье крепчайших духов. Чтобы вытравить запах амбара, мешков, дегтя, он по целому флакону выливает на пиджак; постоишь с ним рядом и с непривычки голова как от тубероз закружится. В деле Констанаки — зверь. Мужиков обвешивает, по вексялям не платит, не раз уже перевертывал шубу и по миру пускал компаньонов... Вне дела Констанаки — джентльмен английской складки. Стоя на веранде коммерческого собрания, на зависть врагам и к унынию кредиторов, десятирублевкой зажигает длиннейшую "согопа согопас" в тифозной комнате, где почетные члены клуба режутся в железку, Констанаки играет только "banco" и при том "toutseul", на женщин — а у него каждую ночь новые женщины — ничего не жалует. Груши-дюшес в декабрьский норд-ост? Заказывай... Шампанское 1895 года, Редерер? Жарь. На счастье четвертной? Получай сотню... Когда Констанаки начинает дяде о своих похождении рассказывать, дядя хватается за голову:

— Опять, говоришь, вчера тысячу пропустил?

— Не ты, брат, пропустил, а я. Мне завтра у тебя мешки покупать надо... Ведь, на меня сукин сын свои пити-мити переложишь!..

Дмитрий Иванович обнажает золотые зубы и радостно крутит ус.

Часов до десяти мы сидим на веранде за чайным столом. Разговор больше о делах, а если не о делах, то в тонах приличных. В одиннадцатом часу слышится стук садовой калитки, дядя стремительно кидается к зеркалу и, расправляя пунцовый галстук, полный каких-то радужных мыслей, бросает в мою сторону.

— Ну, Жоржетка. Теперь смойся, брат, в свою комнатку. Этот виноград тебе еще не по зубам...

— Дядя, я только полчаса?

— Ни полминуты.

Но на веранде уже зашуршали юбки, дядя забыл о моем существовании и я остаюсь на своем месте...

Обычно их трое: Мурочка из Палэ-Кристалль, Жоли-Мари из "Кафе-де-Пари", что на Серебряковской, и Амалия Ансовна Штатнальтер, артистка и премьерша местного зимнего театра. Мурочка — толстенная, кругленькая болтушка с мелкими-мелкими зубками. Констанаки обращается с ней покровительственно. Не успеет она войти, Дмитрий Иванович уже подхватил ее, посадил на свои колена, расцеловал и умильно просит:

— Ну, девочка, покажи-ка ты "смотрите там, смотрите здесь"...

Мурочка пытается сделать удивленное лицо, прыгивает с колен Дмитрия Ивановича и подбегает к столу.

— Николай Степанович, опять горячий кулич?! Я его в рот взять не могу...

Дмитрий Иванович снова сажает ее на колени и треплет ее пышную прическу:

— Ты же вообще ничего мягкого в рот не берешь.

На этом месте вся компания разражается хохотом. Я понимаю только приблизительно смысл слов Дмитрия Ивановича, но чтоб не отставать и не показаться мальчишкой, тоже смеюсь. В особенный восторг приходит дядя. Он давится чаем, шея у него багровеет:

— Ай да грек, уж он скажет, хоть бы при племяннике посетился... Жоржетка, сигнал подан, густяк пошел, немедленно спать.

Тут вступается Анна Ансовна. Она треплет меня по щеке — ее большой белой, тонкой рукой и просит дядю:

— Николай Степанович, ради меня пусть Юрочка посидит, а вы, Констанаки, не смейте говорить гадости...

Дядя беспомощно разводит руками:

Ну раз у него такая августейшая покровительница, ничего не попишешь. Юрий, целуй руку и благодари...

Я чувствую, как густая краска бросается мне в лицо; не подымая глаз, я подхожу к Анне Ансовне и прижимаюсь сухими треснувшими губами к руке, пахнувшей бесконечно напоминающимися, бесконечно одуряющими духами...

В Анну Ансовну я влюбился с первого взгляда. Она мне снится почти каждую ночь и уже с утра я нетерпеливо жду того часа, когда она придет к нам пить чай. Дядя и Дмитрий Иванович уверяют, что Жоли-Мари много интереснее Анны Ансовны, но у меня свои соображения. Жоли-Мари — жгучая брюнетка, худощавая, маленькая, со злыми глазами. А Анна Ансовна... Когда я на нее смотрю, я вспоминаю картинку, приложенную к нашему гимнастическому изданию Овидиевских метаморфоз — Диана-Охотница... Ни у одной женщины в Новороссийске нет таких стройных сильных ног, такой волнующей поход-

ки, таких изумительных волос цвета поспевающей пшеницы, от которых кожа на плечах и на шее кажется еще белей, еще нежней. Анна Ансовна такая высокая, что когда она идет со мной по улице, я чувствую себя почти карапузом, хотя для своих пятнадцати лет я достаточно вытянутая жердь. Об Анне Ансовне в городе рассказывают множество гадостей, будто ее специальность — развращать подростков, будто из Одессы она была вынуждена уехать по требованию городского головы, сына которого она якобы довела до нервного расстройства. Дмитрий Иванович, знающий все и о всех, об Анне Ансовне отзывается внушительно.

— Это женщина серьезная, кажется, голыми руками ее возьмешь, а начни дарить, банкротом станешь...

Ко мне Анна Ансовна заметно благоволит. Гуляю однажды днем в городском сквере с прыщеватенькой гимназисткой, вдруг слышу знакомый голос меня зовет: "Юрочка, Юрочка"... Оборачиваюсь и вижу белый с разводами шелковый зонтик, сквозь который просвечивает золото единственных волос.

— Юрочка, — говорит Анна Ансовна, — во-первых, не гуляйте с маленькими девочками, от них чернилами пахнет и у них пантalonчики падают, а, во-вторых, отойдем в сторонку и помогите мне из-за пазухи крест извлечь. У меня цепочка разорвалась, словом, целое несчастье...

Мы пошли на заднюю аллею. Анна Ансовна села на скамейку и смеется, а я робко шарю у нее под кофточкой, ищу крест, но руки дрожат и натываются на упругую, небольшую, почти девичью грудь.

— Смелей, смелей, Юрочка!

Пока я крест ищу, обхватила меня рукой и сжала меж своих колен... Потом вдруг перестала смеяться, нахмурилась, точно кого-то заметила:

— Ну, довольно, Юрочка! Неровен час, в обморок упадете. Марш домой учиться и чтоб я вас больше с гимназистками не встречала. Я вам в матери гожусь, могу и уши нарвать.

Я, как ошпаренный, метнулся, а она вслед снова смеется и кричит: "Быстрее, быстрее. Смотрите, догоню, ноги у меня длинные..."

Муке моей нет конца. При виде Анны Ансовны в сердце моем и восторг и жестокость. Всему миру отрубить головы, остаться с ней один на один, посадить ее на трон, рабом подползти к ее ногам и целовать то место, что над чулком белеет, когда она в дождь, переходя улицу, поднимает юбку...

Вечерние чаепития в дядином особняке затягиваются далеко за полночь. Мурочка сонная, щурит зеленые глазки и капризным тоном за что-то упрекает вошедшего в азарт Дмитрия Ивановича. Дядя с разрешения дам облачается в халат и, шлепая туфлями, уводит Жюли-Мари вглубь веранды к турецкому дивану. Анна Ансовна откидывается в кресле, долго смотрит на утихающий бульвар, на прожекторами прорезанную бухту, на холодное беззвездное осеннее небо. Потом она встает, подходит к перилам веранды, нюхает последним цветением благоухающий куст и обмахивается своим веером из черных перьев, хотя и без того не жарко и с моря подувает прохладный бриз. Вспоминает она и обо мне.

— Юрочка, поди сюда...

Я подхожу ни жив ни мертв. Жалею уже, что спать не пошел.

— Ну, что, мальчик? Скучаешь без папы и мамы. Некому твою кровать перекрестить.

Сильной пахучей рукой она хватает меня за шею, привле-

кает к себе и с тихим смешком пребольно кусает мое ухо. Я невольно вскрикиваю.

— Что вы с племянником делаете, развратительница юности?

Каким-то вялым голосом из глубины террасы отзывается дядя.

— Ничего, ничего, Николай Степанович, — спокойно говорит Анна Ансовна, — я его уму-разуму учу. Без родителей он у вас распустился. Я его сечь скоро начну.

Мне хочется упасть на колени, поцеловать край ее белого платья и попросить, чтобы она сделала со мной все, что хочет, лишь бы позволила приходить к ней, сидеть рядом с ней, смотреть в ее насмешливые недобрый огоньком вспыхивающие серо-голубые глаза. Неожиданно я набираюсь смелости и одним пальцем начинаю водить по руке, лежащей на парапете.

— Тебе нравится, Юрчик, моя рука? — спрашивает Анна Ансовна. — Ну, чтож ты ее не поцелуешь? Смелей, смелей, ты уже в каком классе?

Не смея взять ее руку в свои руки, я нагибаюсь к парапету, почти становлюсь на колени и начинаю целовать палец за пальцем. Она благосклонно разрешает, взъерошивает другой рукой мою прическу и продолжает смотреть куда-то далеко-далеко.

Смелость моя возрастает.

— Анна Ансовна, о чем вы мечтаете?..

— О том, чего ты не поймешь. Ты не обижаешься, что я тебе говорю ты, а не вы?

— Что вы, что вы...

— Ты мне тоже нравишься, Юрочка. Когда скучно будет, приходи как-нибудь в гости. Дачу мою знаешь?

Не помню, сколько еще времени разговаривал я таким образом с Анной Ансовной. Помню, что Дмитрий Иванович вдруг встрепенулся и закричал:

— Девочки, девочки, пора, пора, у меня завтра с утра беготня.

Дядя, шлепая, подошел ко мне, отозвал в сторону и сказал:

— Жоржетка, прощайся и спать. У меня кой-какой разговор еще есть. Жарь прямо к себе наверх и чти дядю за доверие.

Я понял дядю, попрощался и поплелся по лестнице, полупьяный от радостных волнующих мыслей. "Дядя хороший, настоящий человек", думал я, ворочаясь в постели; потом, зарывшись в подушку, с головой накрывшись простыней, вспомнил Анну Ансовну. Мне показалось, что здесь, на моей постели, рядом со мной лежит ее длинная тонкая рука, что одно за другим я снимаю ее широкие причудливые кольца, а она снова смеется своим тихим раздражающим смешком, от которого хочется плакать неутешным плачем, разорвать зубами подушку, босыми ногами вскочить на пол и топтать, топтать до тех пор, пока солнце заглянет в наш сад и приблизит желанный день... Она пригласила меня к себе. Я буду наедине с Дианой-Охотницей. Ах, отчего я не родился хоть бы на пять лет раньше. Был бы теперь студентом, не зависел бы от гимназии, от внешкольного надзора, от придиричивых отцовских писем... Если бы Николай Степанович Быстрицкий поднялся в эту ночь по лестнице и заглянул в комнату племянника, он бы услышал истерические рыдания... Он бы увидел вместо Юрия Быстрицкого, скорчившийся, стонущий комок, слившийся с искусанной, слезами залитой подушкой. Но Николай Степанович, как старый холостяк, имел свои мечтательные

заботы... И еще долго сквозь открытое окно моей комнаты долетали заглушенные голоса, поцелуи, женское пение и звон бокалов... А на море ревела тревожная сирена, предвещающая, что погода меняется, что туманы уже сгущаются и грозят укрывать у города Новороссийска восходящее сентябрьское солнце...

... Дядя Николай Степанович долго стоит в это утро перед большим трюмо и тщательно разглядывает гусиные лапки под глазами. Я подхожу и почтительно целую ему руку. Милый, милый человек! Даже гусиные его лапки, и у тех какой-то ласковый уютный вид.

— Юрий, — говорит он, завязывая сиреневый бантик, — вредно тебе в таком возрасте у холостяка жить. Хорошему не научишься. Приехал когда, были у тебя синяки под глазами с пятак, а стали нынче с кулак. Не знаю уж что тебе и сказать. Курить не куришь, поведения тихого, но не нравится мне тихость твоя. Уж лучше бы стекла камнями побивал, чем забиваться в юбки Анны Ансовны. Запомни на всю жизнь слова мои. Когда помру, скажешь, не врал мне старый павиан. Бойся белокурых и ледяных, особенно из Прибалтийского края. Запах от них хороший, а сердце твое гниет. Потроши гимназисток, целуйся под кустами, езд на пикники, но до срока не накидывайся на артисток. Люблю я тебя, но что отцу скажу? Был сын, а остались синяки.

Дядя любовно припудривает потный подбородок, ногтем большого пальца озабоченно касается шелушащегося лба и внезапно благим матом ревет в окно:

— Петр, мучитель мой, где же ты, сукин сын, пропадаешь? Опять напился. Тебе бабье, мне убытки. Выгоню, Бог свят, выгоню.

И снова тишина в доме. Забираюсь с ногами в огромное дядино кресло, кусочками ломаю плитку эйнемовского шоколада и изредка переворачиваю страницу лежащей предо мной книги. Что я читаю и о чем идет речь? Сказать по правде, не знаю, не понимаю. Мысли мои за тридевять земель от книги в белой глянцево-обложке. Хорошо, что я в Новороссийске, хорошо, что целая ночь переезда отделяет меня от родителей. Может быть нехорошо, что я родителей не люблю. В детстве за них еженочно молился, а теперь бросил. Хорошо это или нехорошо? Вероятно хорошо; дядя намерен при мне Дмитрию Ивановичу говорил: "Не люблю притвор. Приходит в контору и начинает конючить — как же я, Николай Степанович, могу против матери пойти?"

А я ему в ответ:

— Плюнь ты на мать, по роже вижу, что мать для тебя трин-трава. Попы тебя заели. Ну, родила тебя мать, ну щипцами в нее лазили. — Так это все было и мохом поросло.

Да, да, мохом поросло.

Хотелось бы никогда родителей больше не видеть. Когда им время помирать придет, уеду куда-нибудь подальше, чтобы не смогли телеграммой вызвать и не пришлось бы на похоронах страдать. — Как хорошо это вышло, что меня из гимназии выперли...

На море туман, сирены надрываются, дождь барабанит по стеклам. — Плед дядин теплый, претеплый шотландский. В гостиной тепло. Если холодно станет, пойду в столовую, ключи у меня, открою шкаф, выпью рюмочку того самого с надписью V.S.P., про который Жюли-Мари говорит "Вы свое опять". От коньяка перхотня в горле и рот обжигает, но зато храбрость вырастает. Посижу, посижу, да и зайду к Анне Ансовне, благо, она чуть не через дорогу живет.

Два месяца завывал норд-ост. Два месяца с корнем вырывало чахлые деревья на бульваре, и листья перегнившие шелестели под окнами, металась по мостовым, попадались под ноги и мокли в ноябрьской слякоти. Уже и в театре заиграли, и "Нора" с Анной Ансовной в заглавной роли в восьмой раз идет, и дядя по утрам облачается в теплейшую скуновую шубу, а мои дела не клеются — ни любовные, ни учебные.

В гимназии один день занятий, неделя забастовок. Весело бастовать, не кланяться директору, галдеть в прихожей, подражая рабочим митингам, выбирать делегацию для представления требований педагогическому совету. Очень весело. На днях Василий Коршунов, наш же шестиклассник, в манджурской папахе явился в женскую гимназию, вызвал начальницу, погрозил ей кулаком и добился освобождения учениц от обязательного посещения закона Божьего, пения и танцев. Я бы от Василия Коршунова не отстал, но связывает меня данное дяде честное слово не вмешиваться ни в какую чертову политику и не огорчать осиротевшую мать. Осиротевшей именуется мать потому, что в прошлом месяце отца мобилизовали и отправили в Харбин старшим дивизионным врачом.

Времени свободного тьма. По утрам читаю, у меня снова книжный запой, и в кабинете на столе ворохи книг, брошюр, листовок. Здесь Герхард Гауптман, и "Эрфуртская программа", и "Бога нет, царь дурак", и Виктор Гюго, "Леонардо" Мережковского, и "Антихрист" Ницше, стихи Бальмонта, которого наш учитель словесности называет мошенником, и сборник Плехановских статей, за распространение которого одного реалиста четвертого класса выслали в административном порядке... Пробовал я устраивать сходки и у нас на дому. Дядя согласился при условии не засиживаться после двенадцати и не спорить, а книжки читать. Условие соблюдено не было. Явился Василий Коршунов. С дядей не поздоровался, ног в передней не вытер, а наследил на розовом шелковом ковре. Сел на подоконник, потребовал чаю, только очень крепкого и очень горячего. Гимназисточка одна прочла реферат об этике Спинозы. Когда перешли к прениям, Коршунов еще раз потребовал чаю и предложил вместо того, чтобы ерундой заниматься, открытым голосованием выяснить вопрос о существовании Бога.

— Вот реалисты-молодцы, у них на прошлой неделе собрание было, так даже сын ихнего попа против Бога голосовал.

Разошлись мои гости поздно, не то в два, не то в три. Наутро дядя осмотрел повреждения и дальнейшие собрания категорически запретил. Впрочем, я и не пытался настаивать. Все мои помышления были по-прежнему поглощены визитами к Анне Ансовне. Потому что с разгаром театрального сезона мне становилось все труднее заставить ее дома. То репетиция, то утренник, то портнихи, то магазины. Если ж она и бывала дома, то всегда в окружении многочисленных поклонников. Громадный жандармский полковник Цейхатов; компаньон Дмитрия Ивановича, ветхий грек Виртиади, полдюжины офицеров гарнизона, владелец паровой норвежской колбасной фабрики Вацельс, земляк и сородич Анны Ансовны и др. Все это общество относилось ко мне с полным презрением и замечало меня только тогда, когда Анна Ансовна, наскучив забавлять своих гостей, вспоминала обо мне и говорила:

— Ну, Юрочка, садись ко мне на колени и можешь целовать мою руку сколько хочешь.

Жандармский полковник восторженно грохотал и звел шпорами:

— Ну, что же, господин гимназист, время военное, пользуйте возможность. В гимназии вашей Горация проходят? *Garre diem...* Так что, молодой человек, это вам уже не забастовки-с...

Я мрачно забивался в угол, нырял в газету и лишь героическими усилиями преодолевал желание разреветься тут же в ее гостиной. В такие злосчастные дни я выпрашивал у дяди рубль и с наступлением вечера отправлялся на окраину французской части города. Там я закрывал глаза и мне казалось, что предо мной Анна Ансовна.

— Пропадает парень, — вздыхал дядя, выдавая очередной рубль, — пропадает ни за грош. Ты, брат, хоть меры предосторожности принимай.

— Да вы, дядя, о чем?

— Брось, брось, Ваньку не строй, не рубля жалко, бери три, все равно в гроб денег не унесу, но мать пожалей. Отец на войне, а у сына гимназиста объявится дурная болезнь. Вот о чем подумай.

Дни тянулись. Кутья выдалась мрачная. По случаю праздника ожидалось многочисленное ограбление. Дядя с утра еще получил предостережение из полиции и в гостиной у нас на все три дня Рождества расположились два шпики. Дядя ходил и вздыхал, шпики с аппетитом ели праздничную снедь, пили за здоровье хозяев, играли в шашки и в подкидные дураки, я грыз шоколад и пытался читать "Капитал" Маркса, но дальше второй страницы так и не подвинулся. На третий день праздника в обед раздался продолжительный звонок и стук в парадную дверь. Старший шпик сделал торжественное лицо, вытащил из кармана огромный маузер и открыл дверь через цепочку.

— А что Николай Степанович дома? — послышался знакомый голос.

Я встрепенулся. Анна Ансовна? Не может быть, ведь она на утреннике.

В серой меховой шубке, с покрасневшими щеками, с выбившейся прядью золотых волос она стоит посреди гостиной, смотрит на шпииков и звонко хохочет.

— Господи, да что ж у вас, новый участок, крепость, сыскное отделение? Ну, Николай Степанович, полюбуйтесь мной в последний раз. Мечта исполнилась, получила телеграмму из Риги. С 1 января подписала в Русскую Драму. Только вы меня и видели...

"Капитал" выпал из рук и сердце остановилось... Трехдневные страхи, дурацкие шпики, испорченные праздники и в довершение всего...

У юности есть обиды незабываемые, определяющие характер чуть ли не на всю дальнейшую жизнь. Еще теперь, через семнадцать лет когда я пишу эти записки, во мне свежа та рождественская горечь. Что стоило Анне Ансовне сказать мне на прощанье хоть одно ласковое слово, хотя бы в шутку, хотя бы в насмешку? Ни у нас в гостиной, ни на обледенелом вокзале, где пили шампанское и Дмитрий Иванович говорил речь, она даже не посмотрела на меня, даже не попрощалась... Компания провожающих отправилась с вокзала к нам домой допивать. Затопили камин, захлопали пробками, затанцевала Мурочка, к дяде вернулось его обычное благодушно-ругательное настроение. И только бедный шестиклассник, спрятавшись в кабинете, голосом, прерывающимся от слез, монотонно твердил:

Для берегов отчизны дальней

Ты покидала край чужой,

В час расставанья, в час печальный

Я долго плакал над тобой...

Даже не подала руки...

Если прожить еще сто двадцать лет, если любить еще тысячу женщин, и тогда — память не сгладится, обида не пройдет. Потому что жестокость в человеке рождается в момент и не умирает за столетие.

(Продолжение следует)

ИЗДАТЕЛЬСТВО "SOURCE" («ИСТОЧНИК»)

НАЧИНАЕТ ВЫПУСК АНТОЛОГИИ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первая книга "Великие Посвященные" Эдуарда Шюре выйдет из печати в июле этого года. В книге освещены вопросы появления человеческих рас и происхождения религиозных систем, а также рассказывается о жизни Рамы, Кришны, Гермеса, Моисея, Орфея, Пифагора, Платона, Иисуса.

"Это были могучие формовщики умов, энергичные будители душ, спасительные организаторы обществ. Жившие только для своих идей, всегда готовые на всякое испытание и знавшие, что умереть за Истину есть величайший и наиболее действенный из подвигов, они создали науки и религии, литературу и искусство, и их живая сила до сих пор питает и живет нас. И если поставить наряду с такой могучей действительностью стремления позитивизма и скептицизма нашего времени, что могут они принести человечеству? Создать сухое поколение без идеала, без высшего света и без веры, не признающее ни души, ни Бога, ни вечности, не верящее в будущность человечества, без энергии и без воли, сомневающееся в самом себе и в свободе человеческой души..."

Эдуард Шюре

Объем книги — прибл. 320 стр. Цена — \$22.50
В Антологию войдут также произведения Штайнера, Фламариона, Рамачаракки, Безант, Блаватской и др.

Предварительные заказы на книгу "Великие Посвященные" просьба посылать по адресу:

"SOURCE"

L.BROOKS 34 East Av., Middletown, N.Y. 10940

Дася Шаляпина-Шувалова

МОЙ ОТЕЦ — ШАЛЯПИН

ТАК ЗАКРУТИЛИСЬ МАГНИТОФОННЫЕ КАТУШКИ

(Вместо предисловия)

Шаляпина я видел три раза. В Париже в 1931 году. В "Русалке", в "Князе Игоре", в "Борисе Годунове".

"Какой я мельник? Я ворррон, а не мельник!" "Кабы мне на княжьем месте..." "Я царь еще!"

С самого детского детства я их видел такими. И вот они воскресли в Париже. Явились мне из летописной Руси.

Искусство есть творчество и воскрешение. Творчество жизни, воскрешение к жизни. Но только воскресить мало: воскресшее в духе, нужно облечь в плоть. Сотворить воскресшему плоть. Тогда оно останется жить во веки веков. Бывает, когда поэт, художник, композитор, скульптор или певец творят сами: "Тайная вечеря", Девятая симфония, микельанджеловский Моисей... Но бывает, когда воскрешает и воплощает троица: поэт, музыкант, певец.

Пушкин, Мусоргский, Шаляпин.

"Я царь еще!"

Наверное, поэтому...

Впрочем, я не искусствовед и не музыкальный критик. Значит, лучше не философствовать, да еще на незнакомые темы. Скажу только о том, что запомнилось навсегда: театр Елисейских полей, переполненный зал — от министров до меня, рабочего на заводе граммофонных пластинок. На сцене Шаляпин:

"Кабы мне на княжьем месте..."

Все светится, движется, звучит. В Париже воскресла и ожила киевская Русь.

Но вот последний аккорд:

"Ой да, ой да, ой да, ой!"

Шаляпин перестал петь. Творчество кончилось. Все словно потухло. Сцена провалилась в небытие. В зале снова воцарился Париж.

Да не подумают, что, превознося Шаляпина, я унижаю других артистов, тех, что тогда пели с ним. Нисколько. Все они были на высоте. Зал гремел аплодисментами и тогда, когда Шаляпина на сцене не было. И в зале, наверное, находились настоящие знатоки оперного пения. Я же был профаном, последним из последних. К тому же я никогда ничего не понимал ни в пении, ни в музыке. И теперь только передаю впечатление, которое врезалось в мою память и осталось в ней жить после сорока двух лет.

После сорока двух лет...

"Годы моей жизни — детство и первая юность — которые я прожила с отцом, которые он прожил со мной, навсегда останутся сказкой..."

Но это уже в предместье Парижа, на берегу Сены, в Шату, у младшей дочери Федора Ивановича, Даси Федоровны Шуваловой. Мы сидим друг против друга, и между нами вертятся катушки магнитофона. Дася рассказывает об отце.

"Но не той сказкой, которой иногда называют легкую жизнь... Моя сказка другая, она часто бывала страшной сказкой, фантастическим миром, которого я не понимала, которого не понимал отец, которого не знал и не понимал никто. Никто из нас не знал, из каких глубин подсознания поднимались эти фантастические существа, о которых рассказывал отец, когда приходил ко мне в детскую, садился на мою постель и начинал с в о ю сказку..."

Вначале магнитофона не было. Были просто рассказы за обедом, за чайным столом или просто так, когда вдруг что-то вспоминалось: — "А вот папуля, особенно в ресторанах, любил почему-то ставить себе на голову тарелку, чем очень меня смущал..." Потом пришла мысль — а почему бы не записать рассказы и не издать? Ведь это будет совсем другой, никому незнакомый Шаляпин, Шаляпин в детской душе, которой очень долго не было никакого дела до гениального, гремевшего на весь мир певца. Который прежде всего был "папулей", рассказывал сказки, пахнул табачным перегаром и когда целовал, колосил небритой бородой.

Вот и завертелась катушка магнитофона. Я приезжал в Шату по пятницам, после работы, и Дася рассказывала. Иногда двадцать минут, иногда тридцать, иногда час. А бывало и ничего. Дома я переводил запись на бумагу, отстукивая ее на машинке. Сколько времени длились рассказы? Что-то около года. Во всяком случае, достаточно, чтобы сродниться с шаляпинской семьей, чтобы почувствовать Шаляпина чуть ли не как мою собственность! Показывают по телевидению "Дон Кихота", передают по радио "Бориса Годунова", кто-то рассказывает о своей встрече с Шаляпиным в Лондоне, а я думаю — точнее, во мне думается, как бы в подсознании: "Как же это без моего разрешения?" А сознательно: "Смотрите, слушайте, встречайте м о е г о Шаляпина. Ведь это про него сказал Горький: "В день, когда родился Федор Господь Бог был именинником!" И горжусь им, не как русским гением, а как чем-то своим.

Вот так и продолжают вертеться катушки...

"Я царь еще!"

Кирилл Померанцев

СКАЗКИ И ЖИЗНЬ

Период моей жизни — детство и ранняя юность — который я прожила с отцом, который он прожил со мной, навсегда останется сказкой. Не той сказкой, которой иногда называют жизнь, точнее, оставшиеся в памяти чудесные неповторимые годы. Моя сказка другая. Она слишком часто бывала страшной сказкой, фантастическим миром, которого я не понимала, которого не понимал отец, которого не знал и не понимал никто. Никто из нас не знал, из каких глубин подсознания поднимались эти фантастические существа, о которых рассказывал отец, когда приходил ко мне в детскую, садился на постель и начинал с в о ю сказку. Мгновенно проваливалась действительность, в комнату входила фантазия и начинала в ней жить.

Появлялась очаровательная Дези, Бебешка-Сюсюшка и какая-то таинственная штучка, получеловек-полуживотное. Она жила, суежилась, бегала, пряталась, что-то делала, но что? — никто не знал. Не знал, наверное, и сам отец. Впрочем, как я могла разобраться в этом причудливом мире; порой Сюсюшка была не только сказочным существом: иногда это была я, иногда — одна из моих кукол. То же самое случалось и с Дези: порой она выходила из сказочного мира и отождествлялась с моей матерью.

Я никогда точно не знала, о ком именно идет речь. Для взрослого воображения это, может быть, казалось, нормальным: отец создавал прекрасные фантастические образы и порой отождествлял с ними мать и меня. Но в мой детский мир — с его детской логикой и его детскими законами — такие отождествления вмещались с трудом. Я терялась, мне становилось непонятно — как это может быть, что один день Сюсюшка была сказкой и жила в сказке, на другой — становилась куклой, а на третий вдруг превращалась в меня и становилась для отца "ненаглядной дочуркой". Но Сюсюшка всегда оставалась доброй и хорошей и, кажется, она была единственным персонажем из сказок, которого я не боялась. Я лишь боялась потерять себя и самой не стать частью сказочного мира моего отца.

Отец, конечно, ничего не подозревал. Он был гениальным артистом и замечательным рассказчиком. Он не был виноват, что произносимые им слова оживали, становились предметами, животными, людьми. Он сам жил в двух мирах, перевоплощался в каждом новом своем выступлении, перевоплощал все, что его окружало. Так, наверно, случилось и с его сказками. К Бебешке-Сюсюшке откуда-то приходил огромный Северный Колдун, очень страшный и очень злой, и почему-то всегда воевал с Колдуном Южным, тоже нехорошим, но не таким нехорошим и злым, как Северный. И вот в этом царстве, становившимся постепенно моим реальным миром, наконец, появлялся Он — самый главный, Андраши-Кудряш. Он был замечательно красив и бесконечно-добр: красив потому, что добр. Так хотел отец. У Кудряша всегда была большая и тяжелая сабля: ею он защищал сказочный мир от всего нехорошего и злого. Но я боялась и его — он ведь тоже был частью отцовской фантазии, в которой все больше и больше запутывалась я.

Теперь от всего этого в моей памяти осталось одно смутное, но назойливо живущее пятно: вторая реальность моего детства, вернее, та единственная, в которую годами сливались для меня повседневный и сказочный мир этих лет.

Так, каждый вечер, когда отец оставался дома, он при-

ходил ко мне и продолжал рассказывать неоконченную накануне сказку. Сказка длилась, длилась, но конец так и не наступал, хотя рассказы продолжались годами. Впрочем, разве бывает конец фантазии? Вот я до сих пор и не знаю — что тогда было реальностью, а что фантазией. Наверно, и то, и другое.

Когда же отец уезжал на гастроли, он писал мне письма, и сказка продолжалась потому, что он продолжал ее в письмах и иногда сам их иллюстрировал:

"Сегодня видел дворец прекрасного витязя Кудряша-Андраши, но самого его здесь нет. Он ускакал на Лихом-коне Григе в Бордосское королевство к старому Бордосскому королю просить у него руки и сердца (так говорят, когда хотят жениться) принцессы Дези. Кругом дворца стоят шестнадцать мохноногих. И стража. У стражи на лицах грусть. Наверное, беспокоятся, как бы юные колдунята не наделали неприятностей молодому витязю Кудряшу-Андраши. Я сам тоже немного волнуюсь и все время спрашиваю, какие новости рассказывают во дворце... Но пока все благополучно... Мохноногие весело хохочут."

В другом письме, жалуясь, что мать не подает ему кофе в постель "скоро и ловко", как это делала я, потому что "ведь известно, что она "к о п у н ь я", он вдруг прибавляет:

"На днях видел четырех мохноногих... Они кричали кланяться принцессе "нашей" Дасе. Не знаю, почему они считают тебя "своей" принцессой."

Я тоже не знала, и мне было страшно засыпать: я не хотела быть "принцессой мохноногих", особенно таких, какими их изображал отец. В конце концов я стала одержима мохноногими. Даже в поезде, стоя у окна вагона, чуть ли не за каждым деревенским домиком, чуть ли не за каждым деревом мне чудились мохноногие. А отец еще подбавлял — подходил ко мне, клал одну руку мне на голову, а другой показывал в окно:

— Видишь, видишь? Вон там за пень спрятался. Вон он за деревом. Смотри, сейчас выйдет. Вот, вот...

Я напрягала зрение, всматривалась и, действительно, начинала видеть. Стоило чему-нибудь двинуться, пройти человеку, пробежать собаке — мне уже чудились мохноногие. И почему-то они непременно смотрели на меня. Я смотрела на них, боясь проронить слово, замороженная гипнотизирующим шепотом отца и моим воображением. Так продолжалось даже в Сен-Жан-де-Люз, где отец купил землю и выстроил виллу, хотя мне уже было девять лет.

В Пиренеях существует совершенно особенная порода дубов. Впрочем, может быть, и не такая уж особенная, только в других местах таких дубов я больше не видела: костлявые, узловатые, раскоряченные, покрытые снизу густым зелено-бурым мхом. Всякий раз, когда отец их встречал, он, торжествуя, заявлял:

— Смотрите, вот они, мохноногие!

Там, в Пиренеях, они уже не прятались за дома или деревья, они смело выступали перед нами, гордясь своим мохноногим уродством.

Я знала, что Андраши-Кудряш защищал Дези, двоившуюся в моем воображении с матерью, и что у Дези — но не у матери — были свои мохноногие, целая армия мохноногих. Это были страшные, но, в сущности, хорошие существа. Они спали днем и просыпались ночью, чтобы охранять этот — тоже просыпающийся ночью — таинственный мир, от страшных колдунов и колдунят.

Даже в путешествиях, где-нибудь в Америке или в Австралии, когда я ездил с отцом, меня преследовал этот вопло-

щаемый отцом сказочный мир. Помню в поездах — а они шли иногда по два-три дня — когда вечером в вагонах уже тушили свет, отец садился у окна, брал меня на колени и каждый раз, когда появлялся лес, говорил: "Вот увидишь, скоро лес кончится, и на опушке появится маленькая-маленькая избушка, в которой живет ведьма". Я испуганно всматривалась и, действительно, — словно он предвидел — появлялась опушка, за ней полянка и на ней домишко. Он радовался и показывал пальцем: "Видишь, видишь?!". И мне казалось, что я вижу не только полянку и домик, но и входящую в него старую-пре-старую ведьму. Было немного страшно, но интересно. Так же бывало и в театре. Отец уверял меня, что за декорациями живут маленькие зверьки и иногда выходят наружу. Я всматривалась и мне казалось, что я взаправду вижу такого вышедшего погулять зверька. Наверное, была обыкновенная крыса!

Хорошо, что отца часто не бывало дома и что не всегда он брал меня в свои концертные турне. Но приходили письма. Мне их читали, когда я не умела читать, потом, когда научилась, читала сама, и сказочный ночной мир оживал и вытеснял из моей детской головы повседневный дневной.

"Дорогая!

Вчера я пошел вечером в огромный зал петь концерт. И что же я там увидел!!! (Следует описание и чертеж зала). И вот, можешь себе представить, только я вошел в артистическую комнату, как вдруг был поражен удивительным зрелищем. На двух стенах этой огромной комнаты нарисованы две огромные картины. Одна из них представляет молодого юношу, сидящего на белой лошади с копьем в руках (сломанным) и у ног юноши лежит окровавленный зверище в виде крокодила. В глубине под бархатным балдахинном стоит с распущенными волосами в белоснежном платье блондинка принцесса Дези и у ног ее стоит на коленях великолепный красавец Андраши-Кудряш, целует ей руку, а на троне сидит старый король Бордосский, и весь народ со шляпами, бросаемыми в воздух, кричит: "Слава победителю!" На коне же с копьем в руках сидит принц Туся, глаза у него, как звезды горят так ярко, а крокодил высунул язык и, видимо, подыхает совсем.

Это одна картина, а на другой стороне на стене сидит старец на льдине, в руках у него что-то вроде магической палочки (должно быть, заячий хвостик) и страшные рожи колдунов, засыпанных снегом. Они сидят в страшных неподвижных позах и с неопишуемым ужасом в глазах — волосы и стояли, как щетина... Когда я это увидел, я сейчас же позвал Мамулю и Макса (аккомпаниатор отца Макс Рабинович) и показал им это. Они прямо вскрикнули от удивления.

"Что? — сказал я, — видите, что я рассказываю моей дочери правдивую сказку?" А они разинули рты и начали бормотать: "Правда, правда, Господи! Да ведь, действительно, все это правда!"

Как жаль, дорогая моя дочурка, что тебя здесь не было с нами. Вот ты была бы рада, наверное, рада все это увидеть..."

Нет, я не была бы рада. Я и так долго не могла заснуть в эту ночь. Меня пугали и колдуны, и крокодил. Мое детское воображение рисовало их в самых странных позах, и я не понимала, что все они делали и чего хотели. Я, наверно, прослушала, что отец описывал картины — им, конечно, придуманные — но описывал так, как будто перед ним были живые существа и их видели Мамуля и Макс. Нормально, что их начинала видеть и я. Были и другие сказки, но уже не такие страшные. В них жили и действовали животные: "Лошадка", "Киська", "Собачка". Как-то отец прислал мне три картонных

вырезки лошади, собаки и кошки. Я их давно потеряла, и где он их взял, совсем не помню. Но, посылая их мне, он сопроводил посылку сказкой:

"Посылаю тебе эти три картонные вырезки — лошадку, киську и собачку. Они такие славные, живут вместе и никогда не ссорятся, все у них хорошо. Один раз они все трое отправились гулять в темный большой лес. Киська залезла на дерево (хотела искать птичьи гнездышки), собачка побежала посмотреть зайчиков, а лошадка осталась пощипать травку и так хорошо фыркала носом. Вдруг откуда не возьмись — волк. Как бросится на лошадку, да и схватил ее зубами прямо за шею. Лошадь не ожидала этого, страшно испугалась, встала на задние ноги, да как закричит изо всех сил. А волк все ее кусает да кусает — прямо хочет съесть. Киська как увидела это, да как замлечит, да как бросится с дерева прямо на спину волку, да как вопьется когтями ему в уши, да как начала царапать глаза, так сразу волку глаза и выцарапала. Собачка (ее звали "Рахман-бей") услышала, что лошадка кричит и киська орет — как побежит во весь мах (прямо летела, как по воздуху) — ррраз, два, тррри! — и тут как тут. Как увидел Рахманка, что волк на лошади, а киська на волке, да как начал хвост тянуть зубами, кожа-то у волка и лопнула, волк-то испугался и сам хочет бежать, а Рахманка-то держит шкуру за хвост. Волк начал ворочаться — шкура-то с него и слезла и осталась во рту у Рахманки. А волк голый — мясо без шкуры — и, давай Бог ноги, удирать. Рахманка-то не понял — начал трепать шкуру, думал, это сам волк. Волк-то поэтому только и удрал. Киська начала мяукать, лошадка фыркать — дескать — "Что же ты, Рахманка, делаешь? — ведь это уже не сам волк, а только его шкура!" Рахманка-то пришел в себя и понял, что в азарте-то самого отпустил. Как залает, как зарычит со злости, и бросился волка догонять. А волк-то бежал, бежал, да охотнику и встретился. Охотник-то взял ружье — "пиф-паф!" — волк-то и упал — только ногами подрыгал. Лежит мертвый. Подошел охотник, смотрит, а шкуры-то у волка нет. Вдруг прибегает Рахманка, увидел охотника, увидел, что волк мертвый и начал хвостом вилять и потихонечку выть, да глазами показывать охотнику — "дескать, иди за мной". Охотник понял, пошел за собакой и пришел как раз где лошадка, а там смотрит — киська раны лошадины зализывает, чтобы кровь у лошади не шла. Но тут охотник взял лошадку, сел на нее, киську взял посадил себе на плечо, а Рахманку заставил нести в зубах волчью шкуру. И так, скоро-скорехонько приехали все в деревню.

Мужики собрались все. Увидели всех в добром здравии и устроили пир на весь мир. И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот тебе, дорогая, и сказочка от Папули."

И все это началось с трех картонных зверьков, которых нашел отец то ли на конфетной коробке, то ли на рекламе, вырезал и прислал мне. Сказка родилась сразу же, как только он увидел фигурки. В письме, как всегда, не было ни одной помарки!

Отец прожил исключительно интересную жизнь, знал чуть ли не всех сильных и славных мира сего, и я даже не знаю — приняв во внимание его более, чем скромное социальное положение, — с чьей судьбой можно было бы сравнить его воистину "дивную судьбу"? А как он умел держать себя в их, порой коронованной среде, где царем был он, помазанник изначального Слова! Когда же он начинал петь, все проваливалось и оставался лишь один, им творимый, в процессе его пения, мир.

И вот теперь мне начинает казаться, что он должен был

тяготиться своим окружением. Оно, безусловно, льстило его самолюбию, создавало ему "цену", не только, конечно, как певца, но и как человека, но в какой-то глубинной глубине его не удовлетворяло. Или даже не то, что не удовлетворяло, но требовало противовеса. И он находил противовес в любви ко мне и в тех сказках, которые он мне рассказывал или посылал в письмах — ведь он тоже в них жил, они тоже были частью его сложного внутреннего мира. На сцене и на приемах была игра, непрерывный контроль над собой, над каждым своим жестом, каждым своим словом. В сказках и в письмах жили чувства, его бесконечная отцовская нежность, пусть даже меня путавшая, но зато бесконтрольно вырывающаяся из самого его сердца.

Вот другое письмо. Он прислал его мне из Нью-Йорка. Помечено оно 22 ноября, но года не стоит. Думаю, что мне было тогда лет пять-шесть, значит, 1926-27 год, но с точностью сказать не могу. Сообщив, что он посылает мне "кое-какие маленькие штучки из Америки" и что к Рождеству найдет еще "что-нибудь", отец сразу же приступает к "делу":

"Ну, а теперь папуля расскажет сказку своей дочурке Дасе. Слушай:

У Бебешки-Сюсюшки оказалась маленькая, такая же, как и она сама, сестренка и звали ее Парлярлюшка. Вот один раз Парлярлюшка пошла в лес собирать грибы, как вдруг издали увидела Мишку-медведя. Он шел прямо к Парлярлюшке. Испугалась Парлярлюшка, да и ну карабкаться на дерево. Залезла туда, как маленькая киська и сидит, спряталась в листочках. Молчит и боится, что Мишка-медведь ее увидит, залезет на дерево и скушает бедную Парлярлюшку. Медведи хорошо лазят по деревьям, а волки не могут.

Вот Мишка-медведь подошел к дереву и нюхает, носом поводит, а Парлярлюшка чуть жива: "Господи, Господи! Не дай Бог, заметит!". Однако Мишка что-то нюхал под деревом, да и ну лапами ковыряться, что-то разрывать. Посмотрела Парлярлюшка сверху и видит, что медведь копал землю, и оттуда множество выползло муравьев, а Мишка только язык подставляет. А муравьи так и ползут ему в рот, а он-то их и глотает, да еще и причмокивает: вот так — "мя-мя-мя". "Ну, — думает Парлярлюшка, — слава Богу, Мишка не видит меня, я спасена". Как вдруг в это время, около того дерева пробегает волк. Парлярлюшка еще больше испугалась, чуть с дерева не свалилась, и так сильно покачнулась на дереве, что хитрый волк ее увидел сию же минуту. Оскалил зубы, защелкал ими, да и говорит Мишке: "Слушай, Медведишка, я не умею лазить по деревьям-то, а уж ты так-такой мастерище. Полезай-ка кверху, да достань-ка там Карпузика-девочку. Мы с тобой закусим здесь сладко. Ты ножки ее покушаешь, а я — ручки да плечики".

А Мишка ест своих муравьев, да и говорит волку: "Дурак ты, дурак, я тут сладких муравьев кушаю, а ты сдуру-то девчонку какую-то увидал. Нет тут девчонки, тут одни муравьи." А волк и говорит медведю — "Ты сам болван, коматый дурень. Я тебе говорю дело, а ты рассуждаешь, как сюсюшкин осел."

Рассердился медведь на волчьи слова, да как начнет волка за шкуру драть — волк так и взвыл: "Батюшки мои, волчьи лапки, защитите, помогите, медведь живот мне раздирает!" А Мишка еще пуще — так волку пузо разодрал, что у волка все кишки из живота вывалились.

Сделал свое дело Мишка, покрякал, да и пошел в лес, а волк лежит и сдвинуться с места не может. Плачет и говорит Парлярлюшке: "Слезай с дерева да помоги мне встать." Пар-

лярлюшка-то была дурешка, слезла да и хотела ему помочь. А волк-то схватил ее за платье, да и не пускает, говорит: "Подожди-ка поближе, я только посмотрю, какие у тебя глазки." Парлярлюшка поняла, что волк хочет ее покушать, да и ну кричать: "Бойка! Бойка!" (а это собачку так у нее звали). Бойка спал дома крепким сном на кухне, и вдруг услышал да изо всех сил и припустился бежать в лес. Прибежал, смотрит, а волк Парлярлюшку за платье держит. Как набросится Аулька-Бойка на волка, да как схватит его за голову, да и ну грызть. Загрыз Бойка волка до полусмерти, а Парлярлюшка от всех страхов лишилась чувств и упала на траву. Тогда Аулька-Бойка подошел к Парлярлюшке и начал ей лизать нос, да так сильно, так здорово, что она пришла в себя.

Ауля помог ей подняться, посадил на себя верхом, да и ну что есть силы бежать домой. А дома Папуля и Мамуля давно беспокоились: куда девалась Парлярлюшка. Когда же увидели, что Ауля несет на спине их дочку, они собрали сейчас же всех на кухне — и лошадку, и ослика, и коровушку, и свинку, и котика, и петушка, и индюка, и гуся, и Аульку и устроили пир на весь мир. И я там был, мед-вино пил. По усам текло, а в рот не попало."

(Продолжение следует)

КОНТИНЕНТ

Ежеквартальный литературный,
общественно-политический
и религиозный журнал

ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ

1984 — юбилейный год журнала. Ему исполняется 10 лет. В связи с этим читателю, ни разу не имевшему абонемента, предоставляется возможность в течение всего юбилейного года оформить удешевленную годовую подписку (4 номера) на КОНТИНЕНТ. Всего лишь за ДМ 30.—, что на 25% дешевле обычного годового абонемента (ДМ 40.—) и на 37,5% — обычной розничной цены (ДМ 12.—).

Ваш абонемент, дорогой читатель, — одновременно и моральная поддержка, и признание, и пожелания дальнейших успехов «юбиляру» — крупнейшему журналу в русскоязычной прессе эмиграции.

Редакционная коллегия КОНТИНЕНТА:

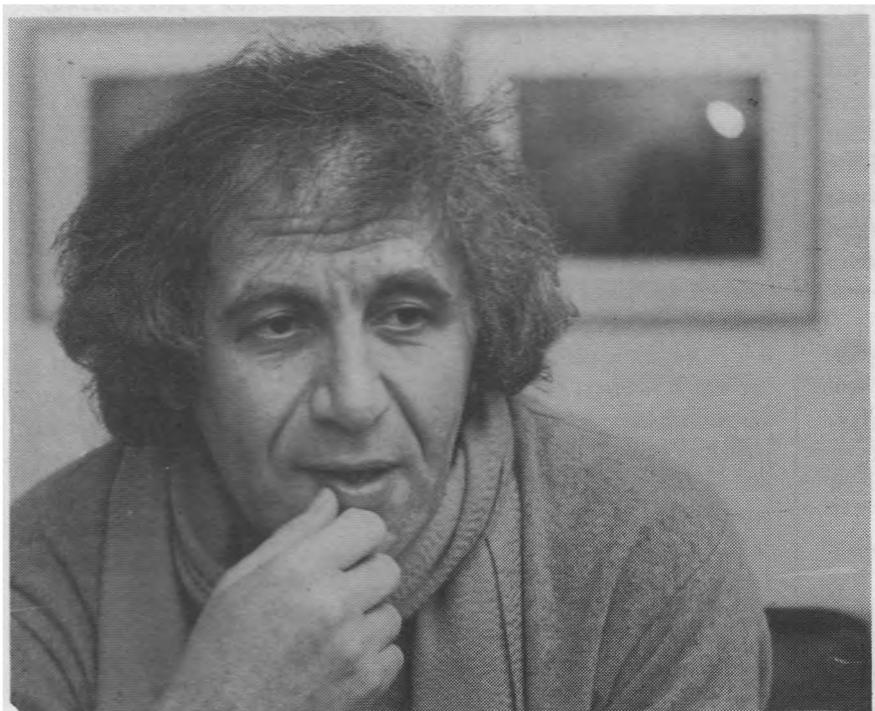
Василий Аксенов, Раймон Арон, Ценко Барев, Джордж Бейли, Сол Беллоу, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Букковский, Ежи Гедройц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Михайло Михайлов, Эрнст Неизвестный, Амос Oz, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем, Пьер Эмманюэль.

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

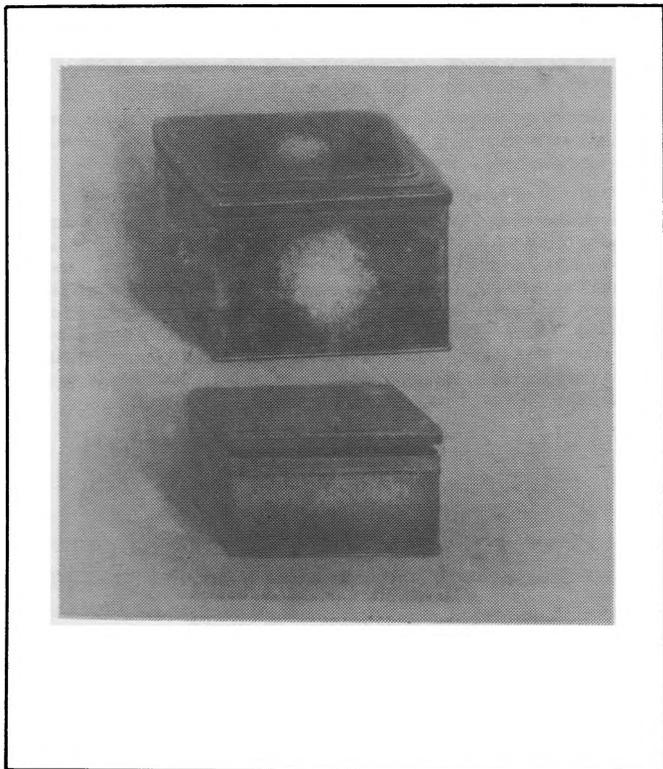
На страницах журнала — современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы

Склад и экспедиция
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstrasse 28 · 8000 Munchen 40 · West Germany

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ ЮРИЕМ КУПЕРОМ



«Я — человек русской культуры и, следовательно, русский художник»



«Пять коробок», офорт, 1984

— Так как в эмигрантской прессе о Вас почти ничего не было, то мне бы хотелось начать, как говорится, с самого начала. Ведь русский читатель и здесь, и там, в России, плохо себе представляет какой путь Вам пришлось пройти, с чего Вы начинали и к чему пришли. В каком году Вы эмигрировали?

— В 1972-ом.

— Сначала Вы были в Израиле...

— Недолго, около шести месяцев.

— Потом в Англии...

— Да, в Лондоне, а затем в Париже.

— С какого года?

— Ну, я не сразу сюда переехал. Сперва наезжал. А окончательно остался в Париже в 1975-ом.

— В Париже у Вас произошел стремительный рывок не в смысле творческом, а в артистической карьере. Вы почти немедленно начали работать с одной из самых престижных галерей...

— Дело, наверное, не столько в Париже, сколько во времени. Прошли те три-четыре года, которые были мне необходимы для того, чтобы как-то до конца осмотреться и понять, в чем заключалась проблема моей неконтактабельности. Когда я приехал в Израиль, то столкнулся с этим вопросом. Нет, меня не критиковали, просто не понимали того, что я делал. Это не попадало в структуру тамошнего искусства и в продукцию, которая продается израильскими галереями. Когда я приехал в Лондон, то встретился с тем же самым. Причем, в Лондоне было еще труднее. Там нужно быть английским художником или, во всяком случае, вписываться в британскую эстетику, которая мне чужда. В каждой стране есть своя эстетическая норма. Я, например, уверен, что если бы Раушенберг вдруг эмигрировал в Советский Союз, то у него тоже возникли бы проблемы в чисто профессиональном плане. Другая эстетика.

— Даже не в Советский Союз, где, понятно, его творчество не приняли бы, а в Россию, в свободную Россию.

— Да, да, совершенно верно. Эстетические нормы или, по-другому, вкусы — разные. То, что принято считать хорошим вкусом, скажем, в Нью-Йорке, может оказаться дурным вкусом в Европе и наоборот. Проживя какое-то время в определенной стране, начинаешь — это происходит даже как-то бессознательно — адаптироваться. Это не значит — приспосабливаться. Но ты начинаешь в нее вписываться, начинаешь понимать хотя бы, в какой галерее ты можешь сделать выставку, а в какой — нет.

— Простите, я Вас прерву. Все-таки адаптироваться во французской среде Вам оказалось легче, чем в английской или израильской, французская эстетика была Вам ближе английской, и в этом смысле, видимо, не случайно успех пришел к Вам именно в Париже.

— Это верно. Но все же и время моего пребывания на Западе сыграло огромную роль для осознания того, о чем я говорил. Вот сейчас приезжают русские художники, показывают мне иногда работы, и я заметил, что сам принимаю их как бы классифицировать, раскладывать: "Эти пять, — говорю, — ты можешь показать в той галерее, эти десять — в той..." На меня обычно смотрят с недоумением и возражают: "Какая разница? Это ведь одно и то же. Эти холсты я написал всего лишь за два года до тех". То есть в России это выглядит как одна линия, как один художник, здесь это смотрится как будто два разных художника работали и решали в этих и тех холстах совершенно различные задачи. Оказавшись на Западе, я через какое-то время в этом вопросе разобрался и мне стало несколько легче. Я стал понимать — где, что, зачем и почему. Если первые два года я как-то дергался, метался из одной стороны в другую, то позже я просто решил вернуться к тому, что когда-то делал в Москве, но только в более чистом виде, что ли.

— В каком плане чистом?

— Ну, скажем, в России я часто писал пляжи с каким-то пространством. Уже здесь я понял, что меня привлекала разница между передним планом, обычно сложным, и уходящим в никуда пространством. И я решил только видоизменить схему — вместо пляжа, песка, у меня на холсте стали возникать на переднем плане предметы, скажем, стол или ящик. На переднем, потому что мне хотелось приблизить объект, ибо, когда ты имеешь дело с перспективой, с глубоким пространством, то что бы ты ни писал, это будет напоминать подход к живописи, существовавший в 18-м и 19-м веках — горизонт и уменьшенную в масштабе панораму. Сегодня трудно на такое смотреть, так как уменьшенное, на мой взгляд, превращается просто в картинку. И я вот пришел к выводу, что гораздо интереснее делать на картине вещи почти в натуральную величину, во всяком случае, чтобы они выглядели словно даны в натуральную величину. И, естественно, если я возвращаюсь к пейзажу, а я сейчас к нему вернулся,

то могу показывать его только фрагментарно, чтобы не терять пропорций хотя бы. На первый взгляд — о чем мы говорим? Какая разница? На самом же деле, это очень важно для художника с мироощущением современным. Не случайно ведь ныне делаются огромные изображения, даже увеличенные во много раз по сравнению с реальными предметами. Возможно, это делается для моментального узнавания предмета. Взять хотя бы рекламные плакаты на улицах. Если раньше, чтобы продать бюстгальтер, к примеру, на плакате изображались мужчина и женщина на пляже, идут они или лежат, и на ней бюстгальтер, то теперь никаких женщин и, тем более, мужчин. Бюстгальтер — крупным планом, во много раз увеличенный. Или другой пример: туфли. Такой же прием и с ними. Никаких сценок на балу, скажем, где кто-то блистает в туфлях, которые надо продать. Нет, теперь только эти самые туфли — во весь плакат, так сказать, во весь рост. То же самое произошло, по-моему, и в живописи. Я не знаю точно, когда это началось, может, уже с поп-арта, с шестидесятых годов, то есть с обретением предметом самозначимости. Если же есть как-то легенда или история, ради которой написана картина, то нам, людям двадцатого века, по-моему, трудно на это смотреть. Нам легче смотреть на нечто, что не имеет истории, а имеет поверхность и какой-то силуэт. Важна та энергия, которую ты затрачиваешь (вкладываешь) на изготовление этого простого предмета. Как когда-то мастера, например, Левша, который делал один предмет, но так его обрабатывал, так его чувствовал, так филигранно у него все... Или японцы, которые изготавливают вроде бы ординарную лаковую коробку из черного лака, но покрывают эту коробку черным лаком в течение семи лет. Каждое утро — один тонкий прозрачный слой. Кажется смешно — зачем? Взяли бы и покрыли лаком, как в Палехе, к примеру, делают. Ведь тоже хорошо получается. Да, но качество-то поверхности абсолютно разное. Как будто бы и там, и тут черный лак, а поверхность по сути своей — другая. Эти аспекты живописности я стал понимать только здесь, да и то далеко не сразу. Там, в Москве, мы развивались иначе. Нам казалось, что достаточно уже того, что мы не попадаем в систему соцреализма, что это уже автоматически включает нас, условно говоря, в клуб серьезных художников. Там, в основном, стоял вопрос не *как* сделать,

а *что* сделать (не у всех, конечно, но у большинства), то есть там не разрабатывалась такая пластика, решались другие проблемы. Так мне кажется. Я не говорю, что всем это необходимо. Но мне как раз этого не хватало. Мир моих московских работ был всегда какой-то странный. И когда я теперь смотрю на них, то, правда, вижу там что-то — теплоту, трепетность — но все это выглядит настолько наивно в смысле эстетики...

— Но вот в этих новых картинах, которые Вы сегодня показывали, тоже есть и теплота, и трепетность. Это — качества Вашей художественной натуры, и они никуда деться не могли. Они и здесь присутствуют.

— Конечно. Но тут уже есть такое "втыкание", что ли, в предмет... Более понятно ради чего картина написана. Посмотрите на ту верхнюю работу. Вроде бы черная коробочка — и все. Но мерцание ее поверхности создает определенное состояние, рождает определенное настроение, то, ради чего, собственно говоря, картина и написана.

— Мне кажется, что из московских художников к тому же стремился всегда и Вейсберг.

— Верно. Кстати, я недавно написал предисловие к каталогу его выставки, которая проходит сейчас в Париже. И, в частности, вот что написал: "Вы всегда останетесь в моей памяти ребенком, который строил из кубиков города, в которых живут мудрые люди. И Вы, пожалуй, первый на Руси открыли закон созерцания".

— Ну, а такой банальный вопрос: к какому направлению Вы сами относите свое творчество?

— Трудно сказать... Понимаете, есть художники, чье творчество можно отнести к той или иной определенной тенденции. А были в истории искусств, и ныне есть, художники-одиночки. Они не совсем, конечно, одиночки. Что-то их объединяет. К примеру, Джакометти и Моранди. Они не принадлежат ни к какому направлению и они очень разные. Однако, тем не менее, что-то их роднит. Что? Ну, они художники с необыкновенным эгоизмом, что ли, в смысле — художники своего внутреннего мира. Вот если Вы мне скажете, к какому направлению их можно отнести, то тогда я себя тоже причислю к этому направлению. Другой пример — Балтус. У нас с ним внешне нет ничего общего, но дело не в этом, не во внешнем, а опять же в том, что он художник своего внутреннего мира. То, что он пишет, настолько мир именно его

— Балтуса... Видно, что этот мир — его фетиш и только его. А какое у него направление?

— Хорошо, оставим в покое направления. Это действительно не так уж важно. Но что Вы хотите сказать своими картинами, чего добиваетесь в них, что для Вас главное в творчестве?

— Я понял, что каждый период истории искусства открывает новые визуальные аспекты. Когда-то первобытные люди открыли силуэты, потом их сыновья или правнуки открыли объем, затем открыли пространство вокруг, импрессионисты открыли значение света, поп-артисты — значимость предмета. Когда я думаю о том, что мне лично сегодня необходимо, какую картину мне интересно писать, то вот к чему прихожу: это картина, которая будет представлять собой некую плоскость, на которую можно медитировать, как, например, смотреть на огонь в камине или на плывущее облако, превращающееся, Вы замечали в детстве, наверное, то в портрет какой-то, то в нечто архитектурное, то еще во что-нибудь. Я бы сказал, что стремлюсь в картинах к эффекту медитации. Это — главное. Вот изобразил я на картине простой предмет: ведро или ящик открытый... Но для меня важно, чтобы это не были только ящик или ведро, чтобы на картине происходило превращение, вибрация, которые заставили бы зрителя дольше на нее смотреть, раскрыть второй смысл, а не просто увидеть ящик или не ящик.

— Чтобы возникло желание созерцать картину?

— Да, чтобы глазная сетчатка каким-либо образом вошла в контакт с поверхностью картины и могла бы немного попутешествовать по ней. Иными словами, я пытаюсь создавать картины для медитации. Это меня интересует в первую очередь. Поэтому кстати, мне и стало нужно приближать предмет, так как медитировать можно только на ту поверхность, которая близко расположена к глазу. Потому что если далеко, то не хватает, так сказать, того, что называется информацией, не хватает сетки, которая будет вибрировать. Вот эта поверхность, например, не приглашает к медитации. Она слишком пуста, нет в ней информации: просто — гладкая, белая. А вот эта, скажем, патенированная старая поверхность таит в себе информацию — такое там количество серых тонов. Если долго эту поверхность разглядывать, то создается внутри нее пространство, потому что внутри этой

поверхности уже есть живописная эссенция, и малейшим прикосновением к этой поверхности можно дать ей, как бы это сказать, нечто такое, чтобы проходящий мимо человек насторожился, узнав что-то знакомое. И тогда он станет вглядываться и войдет в эту поверхность. Произойдет медитация. Вот работа в этом направлении меня привлекает.

— А предметы для Ваших работ могут использоваться любые?

— В принципе, да. Но я делаю столько лессировок для того, чтобы добиться медитационного эффекта, что предпочитаю предметы самые простые, то есть простые в смысле геометрической формы.

— Я теперь хотел бы поговорить о Вашей артистической карьере. Как получилось, что, приехав в Париж, Вы сразу попали в галерею Одермата, одну из наиболее престижных галерей?

— Нет, я попал в нее не то чтобы сразу. У меня еще до этого состоялась в Париже персональная выставка в галерее "Octav Vegry". Одермат купил там две картины, еще не зная меня, а потом мы случайно встретились, и он предложил мне контракт.

— Вы работали с ним много лет?

— Я и до сих пор с ним связан. Правда, выставок у него не делаю, но должен по контракту определенное число картин ему продавать.

— Когда у Вас была первая выставка в Париже?

— В 1971 году.

— И сколько было вообще с тех пор в Париже персональных?

— Одна в галерее Одерманта, одну он мне сделал в Гран Пале во время ФИАКа (Международная выставка галерей)...

— А в нынешнем году прошла Ваша выставка в другой, не менее известной и престижной галерее Клод Бернар. Это уже четвертая парижская персональная?

— Да. У меня сейчас новый контракт уже с этой галереей.

— А вне Франции?

— У меня были выставки в Женеве у Кружье, в Германии, в Израиле.

— Мне кажется, если судить по прессе и по престижности галерей, с которыми Вы связаны, что из всех художников, оказавшихся в Париже, судьба у Вас сложилась наиболее удачно. Работать с такими галереями и интересно, и почетно. Правда, может быть, трудно. Я этой специфике не знаю.

— Трудно, конечно, но трудно ра-

ботать с любой галереей. Мне приходилось сотрудничать и с менее известными, так сказать, средними галереями — тоже трудно. Но другого пути для себя, по крайней мере, я не вижу.

— Естественно, подобные галереи, я имею в виду Ваши основные, имеют и клиентуру хорошую, и связи с прессой.

— Многие имеют. Вот и люди из музеев в любую галерею не пойдут. Что здесь, что в Нью-Йорке.

— В Нью-Йорке у Вас еще не было выставок?

— Была небольшая. В галерее Лефебра. Но там экспонировались лишь графика и фотографии.

— А чем Вы объясняете, что до сих пор эмигрантская пресса о Вас почти не писала? Ведь Вы добились в Париже действительно большого успеха, в "Фигаро" и в "Монде" в этом году огромные и высоко оценивающие Ваше творчество статьи, а русская критика молчит или откликается очень вяло. Вы сами этого не хотели или Ваши галерейщики не были заинтересованы?..

— Не знаю. Я, во всяком случае, никогда не был против и, по-моему, мои галерейщики посылали приглашения в русскую прессу. Так что просто не могу объяснить.

— Но Вы считаете себя русским художником?

— Конечно. А каким же еще?! Я — человек русской культуры и, следовательно, художник русский. Кстати, было интервью со мной в журнале "А — Я" и писал обо мне художник Миша Рогинский.

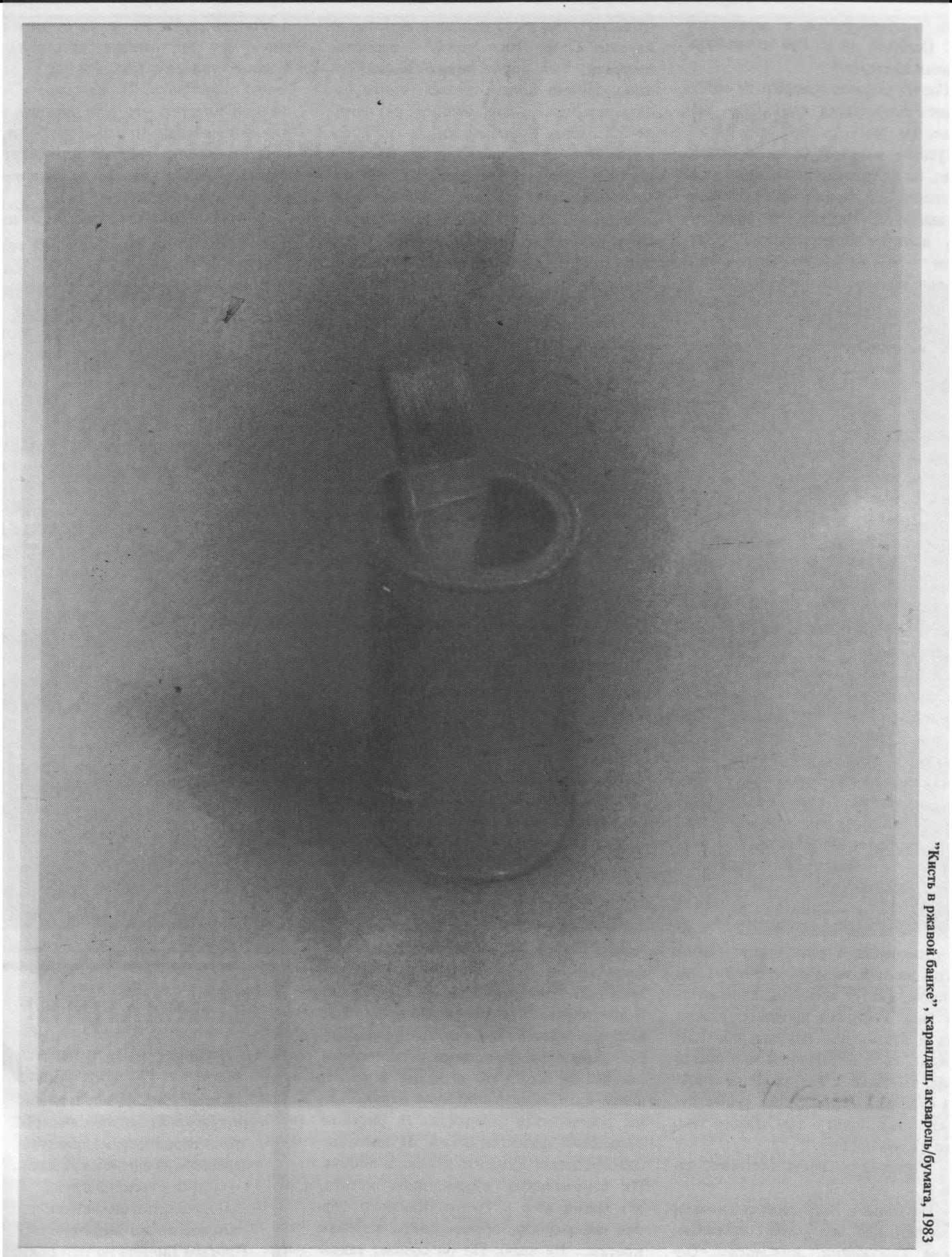
— Да, я знаю. Но при Ваших успехах это все-таки мало, на мой взгляд. О художниках, которые добились гораздо меньше Вашего, пишут куда больше. Мне хочется надеяться, что эта странная неувязка позади. Я, со своей стороны, постараюсь во всяком случае, предложить материалы в русские газеты и в Париже, и в Нью-Йорке. Но скажите, пожалуйста, какие у Вас ближайшие планы?

— Сейчас я работаю над тремя спектаклями. А выставки намечены на 1985 год: сначала в Чикаго на экспозиции, подобной ФИАКу, затем в Нью-Йорке у Кружье или Клода Бернара.

— У них там тоже галереи?

— Кружье уже открыл, а Клод Бернар думает открыть.

— Вы до сих пор не принимали участия в общих экспозициях неофициального русского искусства. Исключение — выставка в музее Саарбрюккена, где я показал Ваши московские работы.



«Кисть в ржавой банке», карандаш, акварель/бумага, 1983

В конце этого года или в следующем году в Музее изящных искусств Шартра состоится Биеннале свободного русского искусства. Как бы Вы отнеслись к пред-

ложению участвовать в этой выставке?

— Положительно. Нужно только поговорить в галерее. Думаю, что они возражать не будут.

— Вы уже давно на Западе, побывали на многих выставках и в Европе, и в США. Каково Ваше мнение о современном западном искусстве, о том, что,

например, экспонируется в парижских салонах? Повлиял ли на Вас кто-нибудь из западных мастеров?

— Насчет салонов говорить не стоит. Там редко встречается что-нибудь значительное. Не могу сказать, что западное искусство в целом на меня сильно повлияло, но отдельные художники моего поколения безусловно какое-то влияние оказали. В Париже, к примеру, Зафран, испанец Лопес Гарсиа... Нет, повлияли — не то слово. Они просто близки мне по духу, и когда я впервые увидел их картины, то как-то успокоился: оказывается, можно делать на Западе и очень интимные вещи. Потому что вначале мне показалось, что обязательно нужно примкнуть к какой-нибудь группе, какому-то направлению, что других вариантов для того, чтобы пробиться, у художника моего склада нет. И вот выяснилось, после того, как я их увидел, что существуют такие художники на Западе: хорошие художники и успешно выставляются. Поэтому я и успокоился. А кому-то и вправду нужны группы, направления.

— Возможно, тем, у кого индивидуальности либо нет, либо она слишком слабо выражена.

— Я бы сказал по-другому. И писатели, и художники делятся, по-моему, на две категории: объективистов и субъективистов. Если ты относишься к объективистам, то есть тем, кто имеет дело с объективной реальностью или объективной эстетикой, как поп-артисты, например, которые, как ученые, разрабатывали проблему, причем, каждый работал над каким-то одним аспектом проблемы, то хочешь — не хочешь, входишь в эту систему, в это направление. Художники-субъективисты тоже имеют отношения с реальностью сегодняшнего дня, но очень пассивные. Они, в основном, пишут про себя, свой внутренний мир. Им даже противопоказано входить в какие-либо группы, ибо как ты можешь свой внутренний мир писать в группе, выражать с кем-то совместно?! Но эти отдельные художники существуют: один — там, один — там, один — там. И что-то их объединяет.

— Индивидуальность все-таки, наверное.

— Не только. Затрудняюсь сказать, что именно. Все это очень серьезные, глубокие художники, живописцы. Однажды я пошел с одним русским художником в Лувр. Он говорит: "Вот ты часто повторяешь — живопись, живописность. А я не понимаю, что ты имеешь в виду.

Объясни". Ну, я его подвел к маленькой картине Гойи. Эту такую — церковь, интерьер. Там почти ничего не изображено. Нужно присмотреться, чтобы понять, что это. Но для меня как раз именно эта работа — эталон живописи. У нее мясо есть. А рядом другая, большая картина Гойи. На ней офицер с эполетами, с саблей, в красном... Там вот этой живописи меньше. Что это такое, словами трудно объяснить. Но от того — есть это у тебя или нет, и зависит, по-моему, художник ты или не художник. Потому что научиться делать картины можно, но этому не научишься. Либо оно есть, либо его нет.

— Насколько я понял, из русских современных художников Вам близок только Вейсберг.

— Володя Вейсберг мне близок по тенденции, по идее, а живопись его для меня немного механистична, синтетическая какая-то. Не хватает в ней трепетности. Нравится мне очень Илья Кабаков. Больше, чем Комар и Меламид. То, что он делает, более живое, более непосредственное, более естественное. Олег Кудряшов мне нравится. Настоящий художник. А не нравится мне все, что построено на жестком контуре, я это просто генетически плохо воспринимаю. Мне легче смотреть на вещи, которые построены мягко. Но, конечно, это чисто личное восприятие. Бэкон, например, крупный художник, но мне его живопись ни о чем не говорит. Как живописец он для меня не существует. Но, объективно говоря, я понимаю, что это большой художник. То же самое и с Пикассо. Говорят, что это что-то особенное, замечательное. А я не вижу, как слепой не видит. Не вижу ни вибрации, ни трепетности, ни какой-то особенной "химии". Вот когда я вижу Веласкеса, например, то чувствую, что это большой художник, мне даже страшно становится. Я не понимаю как это можно просто так ввернуть кистью, что все это прямо живет. Живопись! Простыми несколькими касаниями кисти он передает и собственно свет, и свет, который отражается на поверхности предмета. И рисунок абсолютно фантастический. И цветовое благородство. Какая-то магия, в общем. Из современных художников, кстати, эта магия есть у Ротко. Какая-то особая поверхность. Может, быть, матовая краска... Не знаю. Но он создает такой живописный эффект для моего глаза, что я туда, в картину, проваливаюсь. Есть, знаете, поверхности плоские. Как внутри ни смотри — ничего не увидишь.

А есть поверхности — я уже об этом говорил — с внутренним пространством. Можно туда смотреть внутрь — и там что-то появляется. То же самое в живописи. Я заметил, что есть картины плоские. На них что-то написано — и все. Больше ничего нет. А есть картины, которые имеют как бы несколько планов. Такие мне ближе.

— Ваши работы уже есть в музеях?

— В Осло в Национальной галерее картина. В Нью-Йорке в Музее Модерн Арт — два офорта. В Западном Берлине в графическом кабинете тоже есть.

— Вы упомянули, что работаете сейчас над тремя спектаклями. Расскажите, пожалуйста, о них.

— Я давно мечтал оформить балет. А пока что, для начала, делаю эти три пьесы. Две из них на русскую тему: чеховская "Чайка" и другая — современная. Ее написали Джон Берджер и Нелли Бельская. Толчком для них как бы послужила книга матери Аксенова, Евгении Гинзбург "Крутой маршрут", вернее, один эпизод из нее. Это когда Аксенов приезжает в ссылку на Магадан. Оба спектакля пойдут в Марселе и в Париже. А третий — ирландская пьеса. На материале прошлого века. Все действие происходит в одном месте, в амбаре.

Вы знаете, для меня эта работа и интересна и отдых какой-то. Ведь живопись это очень изнурительный труд. А я почти десять лет сидел и писал, почти нигде даже не бывал, ничем не занимался. Работая же для театра, можно и поиграть. Переключить энергию...

Интервью взял
Александр Глезер

ВНИМАНИЕ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

Литературная консультация,
литературная запись мемуаров,
редактирование, корректура,
переводы на английский язык,
уроки русского языка.

Перепечатка на машинке.

Оплата по договоренности.

Просьба звонить по телефону:
201-432-9636 после 7 ч. вечера

Мишель Курно

«ЦАПЛЯ» ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА В ТЕАТРЕ ШАЙО



Игра с полной отдачей

Антуан Витез поставил советскую сатирическую пьесу, почти не изменив загородных дачных декораций, с которыми он ставил чеховскую "Чайку". "Цапля" — пьеса известного писателя и драматурга Василия Аксенова, который в 1980 году эмигрировал из Советского Союза и ныне живет в Вашингтоне. Подобное соответствие декораций вполне оправдано: Аксенов знает, что в загородных домах, поместьях, дачах протекает действие большинства произведений русских писателей, начиная с Тургенева и кончая Горьким; в то же время автор думает, что было бы небезынтересно показать, как живут ны-

нешние обитатели этих дач, превращенных в различного типа дома отдыха, писательские и прочие дома творчества. Об этом и повествует "Цапля".

Материал превосходно изучен Аксеновым — недаром же лет пятнадцать подряд он, один из наиболее известных и подающих большие надежды советских молодых писателей, садился за руль и ехал в писательские дома творчества — будь то под Москвой, в Прибалтике или на Черном море.

Острые углы

"Цапля" и раскрывает перед нами въяве этих новых обитателей старинной дачи, находящейся в Прибалтике,

в нескольких километрах от польской границы. Это — директор дома отдыха, три его дочери, которых он здесь пристроил в качестве выполняющих неизвестно какие обязанности, странноватый парень, своего рода мальчик на побегушках, который пыль вытирает, и грибы собирает, затем случайные "отдыхающие" — рабочий, служащая кассы взаимопомощи с мужем-сотрудником ЮНЕСКО, старая чета, олицетворяющая, так сказать, доброе старое время, такое близкое и такое уже далекое, и, наконец, цапля, одновременно птица и молодая женщина, возбуждающая тоску, мечтанья и любовь (мы, конечно, упрощаем).

Как бы между прочим дается не-

сколько связанных с Чеховым реминисценций, звучащих в тоне дружеской насмешки. К примеру, "Три сестры" (дочери директора), родившиеся почти в один день, в далеко находящихся друг от друга городах и от трех разных матерей. Так что "Цапля" конечно же сатира, буффонада, бурлеск — комическое сооружение с острыми углами, гораздо более близкое к Маяковскому с его "Клопом" и "Баней", чем к Чехову.

В поисках наиболее соответственной ноты, наиболее подходящего для постановки ключа Антуан Витез поставил пьесу в стиле, приближающемся к мейерхольдовскому. Именно в мейерхольдовской манере и стилизаторское разрушение и последовательное восстановление характеров, и подчеркнутая напряженность голоса, и условность жеста, который близок уже к танцу, акробатике и даже пению (немузыкальному). Да, как раз в такого рода изобретательстве, в такого рода поэзии и в такого рода театре Витез и его актеры чувствуют себя словно рыбы в воде — раскрывают себя открыто и полно, во всем блеске таланта и мастерства. Ни единой мертвой паузы. Зрительно, с точки зрения спектакля, "Цапля" оказалась настоящим подвигом. Она совместила в себе цирк, мюзикхолл, балет, акробатику и пение во всем самом ярком и утонченном выражении этих видов искусства.

Но, к сожалению, следует признать, что как раз содержание, смысл, суть аксеновской "Цапли" практически не нашли своего воплощения ни в переводе Лили Дени, ни в постановке Антуана Витеза... И вовсе не по их вине. Ни Лили Дени, очень вдумчивая и талантливая переводчица, ни Антуан Витез, создавший постановку в самом что ни на есть аксеновском духе, не добились проникновения в суть пьесы. Произошло это потому, что на французском языке сделать это просто-напросто невозможно. Творчество Аксенова, его писательская сущность основаны на алхимии слова. Он не мыслитель и не идеолог, его произведения не имеют ничего общего с философией.

Алхимия звука

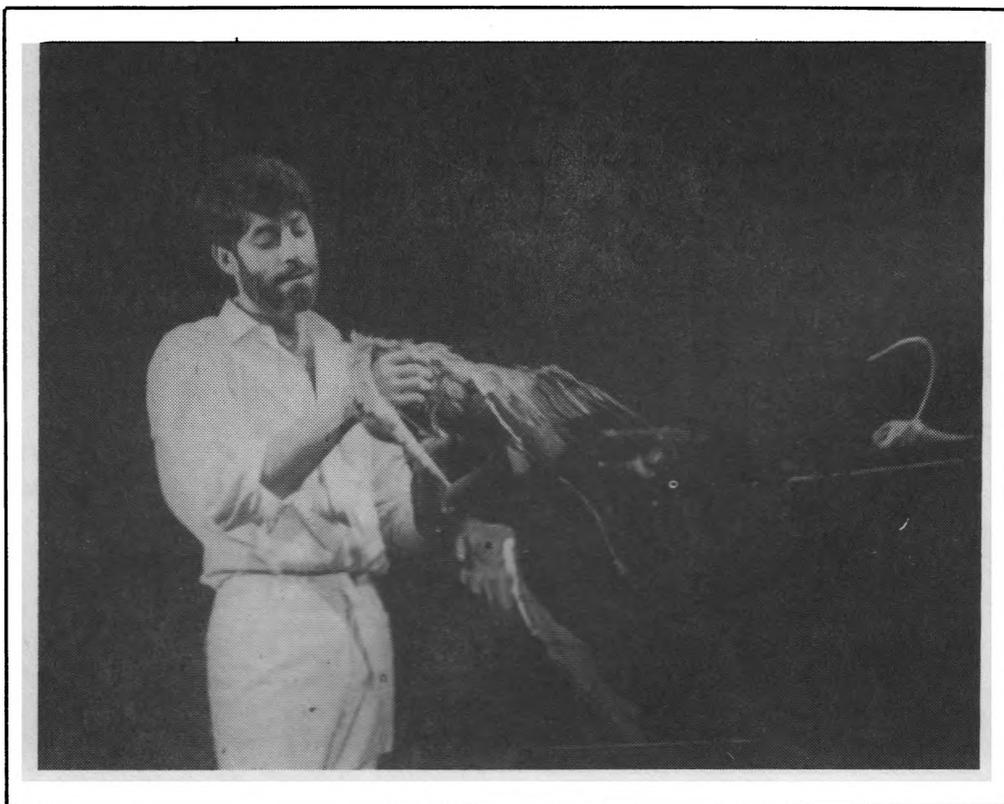
Аксенов — человек, наделенный особым, исключительным, можно сказать, "неслыханным" слухом. Он умеет схватывать малейшие, самые при-

чудливые оттенки языка, тональность, тембр, всю гамму значений, образующих основу современного советского языка, — существенно отличающегося от языка старой дореволюционной России. Благодаря именно алхимической работе над всеми слоями советского языка, благодаря созданию особенной, чрезвычайно глубокой и насыщенной поэтической его субстанции, Аксенов чудесным образом сумел выразить не только плоть, но и самый дух советского бытия.

Пьеса "Цапля" остается для нас пустым звуком, потому что богатство поэтической аксеновской субстанции не

чае же с Аксеновым мы пребываем в полнейшей тьме, "Цапля" как была так и остается загадкой. При всем том сатирическая фантазия Аксенова настолько жива, а "театр" Витеза и его актеры так блистательно воплощают ее на сцене, что пьеса держит зрителя в постоянном напряжении, не давая скучать ни секунды. В конце концов, что требуется "понимать" в Трио опус 97 Бетховена, которым мы восхищаемся, не вдаваясь в глубины авторского замысла.

Единственная фальшивая нота в спектакле — постоянное недоразумение с Польшей. Нынешнее напряжен-



находит своего эквивалента во французском языке, потому что особенности советской жизни и быта, отраженные в творении Аксенова, находят для нас за семью печатями. Ведь если нас возмущает самый факт существования ГУЛАГа, психушек для здоровых людей, номенклатуры, то это еще не значит, что нам стал понятен образ жизни, особенности мышления и психология жителей этой страны.

Если иметь в виду трудности перевода с языка на язык, то Аксенов в чем-то напоминает Джойса. Однако в случае с Джойсом может выручить обращение к греческой мифологии, к католическому Риму, к проблемам сексуальности, наконец. В слу-

ное положение в ней расставляет неверные акценты на содержании аксеновской пьесы, написанной еще до гданьских событий. Автором допущена текстуальная неточность, неосмотрительно раздута Витезом, который в последнем акте возводит кирпичную стену на манер Берлинской, тогда как у Аксенова это самая обычная, причем тонкая, стенка, на которую вешают ружье. Впрочем, можно считать это досадной оплошностью. В целом же спектакль отмечен как высоким уровнем постановки, так и виртуозной игрой актеров.

Le Monde, 20 февраля 1984.

Перевела Майя Муравник

Александр Глезер

Виктор Луи в «Галерее Мари-Терез»

ИСКУССТВО И КГБ

«Ну, — засмеялся Оскар Рабин, когда я рассказал ему о визите Виктора Луи, — значит, галерею признали на высшем уровне». Смех смехом, а все-таки появление вслед за ординарными сыщиками в «Галерее Мари-Терез» столь заметной персоны, близкого, как осторожно говорят на Западе, к советским правительственным кругам журналиста, фигуры более чем одиозной, свидетельствует о том, что советские товарищи придают деятельности галереи серьезное значение. Я до сей поры Виктора Луи не видел, хотя косвенным образом мы с ним пересекались, и даже по телефону однажды беседовали. И, конечно, не раз я о нем слышал. Вполне достаточно написал об этом высокопоставленном специальном агенте в своей знаменитой книге «КГБ» известный американский журналист и писатель Джон Баррон. Поведал о жизненном пути Виктора Луи в книге «Бодался теленок с дубом» и Александр Исаевич Солженицын. Но никто никогда не упоминал о том, что в Москве Виктор Луи был знаком со многими неофициальными живописцами, даже приобретал у них картины (а как без этого войти в доверие!) и до сих пор они благополучно висят у него на даче.

Весной 1974 года постучали в мою московскую квартиру какие-то иностранцы. Говорят: «Хотим посмотреть вашу коллекцию, а рекомендовал нам заехать к вам Виктор Луи». Вежливо, но недвусмысленно я дал им понять, что такими рекомендациями пользоваться не стоит и смотреть картины их не пустил. Шестнадцатого сентября того же года, то есть на следующий день после разгрома выставки художников-нонконформистов бульдозерами, у меня на квартире была организована пресс-конференция для иностранных журналистов. Художники собрались на нее за два часа до начала. А вскоре дом со всех сторон обложили гебисты: не пройдешь, не проедешь. Правда, мы считали, что такой скандал на весь мир с бульдозерами вышел,

что власти лишь пугают нас, не более того. Минут за тридцать до начала вдруг прибегает дежуривший у телефона в квартире Оскара Рабина человек (у меня тогда телефона не было) и сообщает, что звонит Виктор Луи, хочет со мной поговорить. Вот почему дали нашему дежурному до нас добраться... Я иди, говорить с посланцем органов отказался, но зато вызвался это сделать Владимир Немухин — объявил, что, может быть, узнаем какие-нибудь важные новости. «Арестуют тебя, арестуют точно!» — загалдели художники. «Не арестуют, — ответил Немухин, — раз хотят, чтобы Луи нам что-то сказал, не арестуют». И действительно, Немухин неспеша прошел сквозь гебистскую цепочку и благополучно вернулся назад. Но Виктор Луи ничего интересного ему не сказал: попенял лишь на то, что его почему-то не пригласили на пресс-конференцию, хотя он корреспондент какой-то английской газеты и предупредил, что «пресс-конференция по физическим причинам не состоится». Позже выяснилось, что это был просто шантаж: вдруг испугаемся и разбежимся. Но раз не испугались, то применять физическую силу ни против журналистов, ни против нас гебисты, как мы и предполагали, не решились. Уже и без того, как я уже сказал, бульдозеры, брошенные против картин взволновали весь мир, и он пристально следил за развитием событий.

А непосредственно мне Виктор Луи звонил уже во Франции. Случилось это 24 января 1976 года, в день открытия Монжеронского Музея неофициального русского искусства. Я очень удивился его звонку, но он на другом конце провода приветливо рокотал: «Оскар Рабин мой друг, и я хотел бы рассказать ему о вернисаже». «Я ему без вас все расскажу», — говорю. Но Луи настаивал на том, что приедет на открытие, и я его спросил: «У вас есть пригласительный билет?» «Нет, — отвечает. — А что будет, если я приеду без него?» «Выгоню», —

коротко бросил я и хотел уже закончить разговор. Однако Виктор Луи недаром славится отличным нюхом. Он почувствовал, что я вот-вот положу трубку и быстро спросил: «А если я приеду в музей, например, завтра. Как рядовой посетитель?» Что я мог ему сказать? «Пожалуйста, — отвечаю, — приезжайте». Назавтра три французских журналиста, предупрежденных мною о возможном визите Виктора Луи, засели у меня на кухне. Весь день мы его прождали, но он так и не появился. И вот теперь, тридцатого июня 1984 года, входят в «Галерею Мари-Терез» трое. Впереди — высокий, улыбчивый, этакий симпатяга в салатного цвета рубашке с короткими рукавами. За ним женщина, довольно бесцветная и явно старше своего спутника. А следом — низкорослый, усатый господин. Мог ли я подумать, что этот симпатяга — Виктор Луи? Правда, слышал я и том, что актер он великолепный и, когда нужно, умеет быть даже обаятельным, и о том, что хотя бы и трижды его за дверь выставляли, он, если необходимо, еще раз вернется. Но чтобы так просто... Нет, не ожидал. Не ожидал еще и потому, что как-то вроде бы не по рангу Виктору Луи в какую-то галерею заглядывать. Но вот заглянул он, правда, пока что для меня симпатичный незнакомец, и бегло осмотрев картины, стал разглядывать разложенные на столе книги, журналы, каталоги.

«Вот это я обязательно куплю, — говорит он, указывая на сборник документов «Советско-нацистские отношения». — Мой сын сейчас в Оксфорде как раз над этой темой работает и нигде найти материалов не может. И каталоги все возьму. В первую очередь Рабина». И он, оглянувшись, посмотрел на висевшие напротив стола рисунки. «Из последних?» — спрашивает. «Да, — отвечаю, — за последние три года». «Как он в Москве был известен, нарасхват картины шли, а здесь-то не то», — продолжает незнакомец. «Почему не то? — возра-

жаю. — И пишут о нем немало, и работы его покупают не только во Франции, но и в Норвегии, и в Западной Германии, и в Швейцарии, и в Америке...” А мой собеседник слушает и как-то недоверчиво головой покачивает: все равно, мол, не то. ”Я, — говорит, — месяца два тому назад звонил Эрнсту Неизвестному. В Нью-Йорке его не застал, но поймал в Калифорнии. Разве та слава у него, что была в Москве?”

И снова перескочил на книги. ”Кто, — спрашивает, — издал ”Советско-нацистские отношения?” ”Я, — отвечаю. — Мне даже угрожали перед выходом книги”. ”Кто?” — удивился он. ”Советские товарищи, кто же еще?” — говорю. Незнакомец ничего на это не ответил, а его усатый приятель вообще молчал, не произнеся за все время ни единого слова.

Неожиданно незнакомец принялся изливаться: ”Спасибо Вам за все. Большое дело делаете. Разобщены были художники, а Вам вот удалось их объединить. От всей души спасибо”.

Я уже после рассказа про звонки Эрнсту Неизвестному насторожился. Эрик говорил мне о том, что Виктор Луи его в Америке разыскивал, а разыскав, доверительно намекнул, что помнят и ценят его в Москве. А тут еще такие благодарности восторженные, но каким-то вкрадчивым тоном произнесенные. Да и вообще, откуда этот незнакомец знает, кто я такой? Надо бы спросить его, думаю. Однако, не даром славится Виктор Луи своими талантами. Видно, и на этот раз почувствовал он, что память моя заработала и сразу же вперед: ”Вы, кажется, журнал ”Стрелец” издаете. Где его можно найти?” ”Вон, на окне лежит. Только три первых номера сейчас есть”, — отвечаю. Он взял журналы, перелистал их этак небрежно и спрашивает: ”А где подписаться можно? Впрочем, ладно, я сперва эти прочитаю, — продолжает он и, обращаясь к хозяйке галереи: ”Афиши можно купить?”

Взяв несколько афиш, он со своим молчаливым спутником подошел к рисункам Рабина: ”Близко я его знал в Москве, — говорит. — И хорошо относился. Он в меня камень бросить не может”. И помолчав, добавил нечто на первый взгляд невразумительное: ”Это две совершенно разные вещи”. Тут уж у меня сомнений не осталось, явно какой-то гебист, служба и искусство для него, понимаете ли, разные вещи. Вот что он имел в виду. И я прямо спросил: ”А где Вы теперь живете?” ”Как где? — удивил-

ся он. — В Москве”. И, не дожидаясь очередного моего вопроса, протянул мне руку: ”Давайте знакомиться”. И пауза. Я тоже невольно протянул руку, и моя легла в его выхоленную. И лишь тогда он как-то небрежно и в то же время внушительно, во всяком случае, не торопясь, произнес: ”Виктор Луи...” И затем, уже торопясь: ”А это мой друг. Он двадцать шесть лет провел в сталинских лагерях”.

Я, еще не окончательно придя в себя, подловил подловил, сука, машинально говорю: ”Ну, напишите воспоминания”. Молчальник встрепенулся: ”Вот, Виктор тоже все просит — напиши, напиши. Наверно, и вправду надо. А то Солженицын такое понаписал. Я, знаете, с ним сидел и все хорошо помню”. И они, словно это был заключительный аккорд, потянулись к выходу. Обернувшись, уже на пороге, Виктор Луи помахал мне на прощанье рукой и вновь: ”Спасибо Вам большое за все”.

Видимо, выглядел я слегка обалдевшим, потому что Мари-Терез спросила меня: ”Что с тобой? — и добавила. — Какие-то странные люди. Его жена (ах, значит, это была жена Луи, англи-

чанка) мне о своем семействе рассказывала и меня спрашивала: как галерея, как мои дети, куда едем отдыхать? Но что с тобой? — повторила она. — Ты какой-то отсутствующий”. ”Ты знаешь, кто здесь был? — ответил я. — Нет? Ну, вот сейчас я вымою руки и все тебе расскажу”

Кстати, Виктор Луи обещал еще раз в галерею заглянуть. Один из моих друзей посоветовал мне в этом случае взять у него интервью: забавно, мол, будет. Что ж, может быть. А пока что лишь отмечу: ничего не скажешь — ловкий человек. Но с какой все-таки целью этот агент экстракласса, лицо, облеченное высоким доверием в советских правительственных кругах и гебистских высоких сферах, посетил галерею и провел в ней более получаса? С какой целью он благодарил меня, а его жена выспрашивала хозяйку галереи о ее семейных делах? Неужто для всего этого не нашлось агентов классом и чином пониже? Впрочем, на все эти вопросы ответит будущее. Поживем — увидим.

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА В ИЗГНАНИИ (ДЖЕРСИ-СИТИ)

15 СЕНТЯБРЯ — 15 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА ”10 ЛЕТ НАЗАД”,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ ”БУЛЬДОЗЕРНОЙ ВЫСТАВКИ”
В МОСКВЕ 15 СЕНТЯБРЯ 1974 ГОДА

21 ОКТЯБРЯ — 15 ЯНВАРЯ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
ОСКАРА РАБИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

предлагает

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПО
ТА

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

Сборник неизвестных и малоизвестных рассказов писателя. Составитель и автор предисловия профессор Михаил Геллер.

180 стр. \$10.00

Чeki и денежные переводы
просьба направлять по адресу:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

CHAI
LOT
THEATRE
NATIONAL



TCHEKHOV LA MOUETTE

Traduction et mise en scène d'Antoine Vitez
Scénographie et costumes de Yannis Kokkos. Musique de Bernard Cavanna.
Chorégraphie de Milko Spasimblek. Lumière de Patrice Trotter.
Avec Jean Allan, Joël Denicourt, Jean-Yves Dubois, Jean-Claude Jay,
Patrice Kerbrat, Dominique Reymond, Edith Scob, Bruno Sémorine,
Claudia Slavsky, Dominique Valadié, Agnès Van Molder, Pierre Vial,
Jean-Marie Winling. Assistante à la mise en scène Kassa Skansberg.
Assistant pour les décors et les costumes Nicolas Sire.
Grand Théâtre du 9 février au 20 mai 1984 en alternance
avec Le Héron. Soirée à 20 h 30. Matinée le dimanche à 15 h.
Relâche le dimanche soir et le lundi.

AXIONOV LE HERON

Texte français de Lily Denis. Mise en scène d'Antoine Vitez.
Scénographie de Yannis Kokkos. Costumes de Yannis Kokkos
et Krystyna Kamler. Musique de Bernard Cavanna.
Chorégraphie de Milko Spasimblek. Lumière de Patrice Trotter.
Avec Jean-Claude Jay, Patrice Kerbrat, Jean-Claude Leguay,
Dominique Reymond, Boguslaw Schubert, Edith Scob,
Bruno Sémorine, Claudia Slavsky, Dominique Valadié,
Agnès Van Molder, Pierre Vial, Jean-Marie Winling.
Assistante à la mise en scène Kassa Skansberg.
Assistant pour les décors et les costumes Nicolas Sire.
Grand Théâtre du 17 février au 25 avril 1984 en alternance
avec La Mouette et aux mêmes horaires.
Renseignements et réservations 727 8115

